

ГЕОРГИЙ КАСЬЯНОВ

библиотека
журнала

АНТРОПОЛОГИЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТОЛОГИЯ ИСТОРИЯ

неприкосновенный
запас

УКРАИНА И СОСЕДИ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 1987–2018

Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Георгий Касьянов

**Украина и соседи: историческая
политика. 1987-2018**

«НЛО»

2019

УДК 323.1(477)
ББК 66.3(4Укр)64

Касьянов Г.

Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018 /
Г. Касьянов — «НЛО», 2019 — (Библиотека журнала
«Неприкосновенный запас»)

Как и для чего политики используют историю? Как конструируется то, что называют «исторической памятью»? Кто ее «конструкторы»? Как история и «коллективная память» становятся гражданской религией? Почему проблемы прошлого превращаются в проблемы настоящего? Как войны памяти переходят в реальные войны? Эти и другие вопросы рассматриваются в книге известного украинского историка Георгия Касьянова как ключевые моменты «исторической политики», динамика которой в Украине рассматривается в постсоветском контексте Восточной Европы конца 1980-х – 2010-х годов. При этом сама историческая политика обретает множество лиц и измерений, раскрываясь через деятельность ее основных акторов: государства, общественных организаций, международных институтов, СМИ, историков. Примеры «боев за историю», разворачивавшихся в самой Украине, и «войн памяти» с ближайшими соседями, детально представленные в книге, показывают конфликтный потенциал этой деятельности.

УДК 323.1(477)
ББК 66.3(4Укр)64

© Касьянов Г., 2019
© НЛО, 2019

Содержание

Вступление	6
Раздел I	10
Глава 1. Понятия	10
Историческая память	10
Историческая политика	14
Базовые определения	18
История и память	22
Украинское измерение	26
Глава 2. Контексты	29
О стереотипах	29
«Западная Европа»	33
«Восточная Европа»	40
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Георгий Касьянов
Украина и соседи: историческая
политика. 1987–2018

© Г. Касьянов, 2019

© ООО «Новое литературное обозрение», 2019

* * *

Вступление

К теме, обозначенной в названии этой книги, впервые я обратился в 2000 году, еще не зная термина «историческая политика». В то время меня занимала тема переписывания истории – в основном как проблема развития дисциплины. В середине нулевых мне по стечению обстоятельств довелось возглавлять комиссию Министерства образования и науки по истории, занимавшуюся формальной экспертизой учебников по истории. Знакомство с содержанием большинства учебников по истории Украины в некотором смысле было настолько впечатляющим, что подвигло обратиться к вопросам политического использования истории. Я предполагал, что при единстве установленных государством стандартов авторы учебников были свободны в выборе способов репрезентации и толкования материала, но содержание учебников было угнетающе однообразным. Как мне показалось, дело было не только в официально утвержденной единой программе, которой должно соответствовать содержание учебников, но и в чем-то другом. Это «что-то другое» и стало предметом моего интереса.

В 2006–2008 годах я стал свидетелем и «вовлеченным наблюдателем» масштабной государственной кампании по подготовке к 75-й годовщине голода 1932–1933 годов, получившего официальное название Голодомор. Пионерская готовность, с какой многие профессиональные историки включились в обслуживание госзаказа и «общественного интереса», производила на меня неизгладимое впечатление, тем более что я еще не забыл такую же ситуацию начала 1990-х.

Продвижение идеологемы, согласно которой голод 1932–1933 годов был организован с целью уничтожения украинской нации, явно противоречило некоторым базовым правилам и процедурам истории как научной дисциплины. Правда, при этом оно идеально вписывалось в идеологический и политический запрос части правящего класса и в то же время отвечало ожиданиям части общества, искавшего в «геноцидной» версии события объяснения жизненным проблемам и вызовам. Мои наблюдения за действиями историков показывали, что причина далеко не всегда (но и нередко) крылась в осознанном желании следовать политической конъюнктуре или в банальном приспособленчестве. Складывалось впечатление, что историки выполняли некую миссию...

Поскольку я сам в конце 1980-х – начале 1990-х был активным участником ликвидации «белых пятен» украинской истории, «критиком сталинизма» и убежденным «просветителем масс», я легко узнал формулы и стереотипы, которые считал пройденным этапом. Профессиональная украинская историография во многих своих проявлениях к середине нулевых уже явно переросла рамки классического национального канона, но историческая политика и подчиненная ее интересам историография воспроизводили его в неизменном – иногда достаточно карикатурном – виде. И в этом принимали участие мои коллеги, в базовой профессиональной квалификации которых трудно было усомниться. Не менее впечатляющей была реакция активных сегментов общества: как оказалось, вопросы прошлого по-прежнему волнуют их не меньше, а иногда куда больше, чем проблемы настоящего. Удивительно похожей выглядела и механика госзаказа и «общественного запроса»: часть элит и общества опять требовала «правильной» истории, хотя она уже прочно утвердилась в школьных учебниках, часть отстаивала «неправильную», при этом все стороны воспроизводили практики советского образца. Даже запросы от государственных органов в академические институты, все эти «входящие – исходящие» выглядели так же, как запросы ЦК КПУ. Новым было лишь то, что круг запрашивающих значительно расширился.

Именно тогда я и заинтересовался механизмами возникновения и действия дискурсивных форм, оказывающих мощное влияние на общество и на тех, кто называет себя интеллектуалами. Так я пришел к необходимости изучения исторической политики. Результатом стала

серия статей и книг, посвященных этому явлению на Украине, в России и Польше. Часть текстов, написанных в 2009–2015 годах, вошла в эту книгу, разумеется в значительно измененном и дополненном виде. События 2015–2017 годов и «третье переиздание» идеологически мотивированной версии национальной истории продемонстрировали тот уровень повторяемости, который действительно достоин скрупулезного исследования.

Решение написать об исторической политике отдельную книгу далось непросто. Один из моих коллег, мнению которого я доверяю, как-то заметил, что проблема описания исторической политики вполне укладывается в рамки одной академической статьи. То обстоятельство, что в данном тематическом сегменте подавляющее большинство работ – это именно сборники статей¹ частично подтверждает справедливость приведенного замечания. Поскольку значительная часть этой книги была уже написана, я, встревоженный перспективой стрельбы из пушки по воробьям, потребовал от этого же коллеги аргументов в пользу монографического формата темы. Он проявил солидарность, высказав соображения, которые я привожу в своей интерпретации.

В самом общем виде интерпретация тенденций, действий акторов и результатов исторической политики действительно может вписаться в формат одной статьи или главы в тематическом сборнике. Однако подробный отчет, в исторической ретроспективе позволяющий отследить генеалогию явления, называемого исторической политикой, требует более масштабного формата, особенно если речь идет об исследовании, помещающем историческую политику в более широкий географический и политический контекст, чем границы одной страны. Ободряющим примером стали работы коллег, также решившихся объять необъятное, взявшись за похожие темы именно в формате книги, и собственный опыт исследования некоторых важных аспектов явления².

Кроме того, на мой взгляд, Украина при всем сходстве процедур, практик, действий акторов и результатов исторической политики все-таки представляет собой достаточно специфический и сложный пример даже на фоне турбулентного постсоветского пространства – хотя бы потому, что манипулирование и злоупотребление прошлым в угоду сиюминутным интересам всеми участниками этого захватывающего занятия как на Украине, так и за ее пределами стали одной из предпосылок и частью процессов, приведших к аннексии Крыма, скрытого и явного разделения регионов по вопросам отношения к прошлому и войне в Донбассе.

¹ См., например, наиболее известные публикации за последнее десятилетие: *Müller J.-W.* (ed.). *Memory and Power on Post-War Europe. Studies in the Present of the Past*. Cambridge University Press, 2002; *Brunnbauer U.* (ed.). *(Re)Writing History: Historiography in Southeast Europe after Socialism*. Munster: LIT Verlag, 2004; *Lebow R. N., Kansteiner W., Fogu C.* (eds.). *The Politics of Memory in Postwar Europe*. Durham; London: Duke University Press, 2006; *Kopeček M.* (ed.). *Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe after 1989*. CEU Press, 2007; *Antoň S., Trencsényi B., Apor P.* (eds.). *Narratives Unbound Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe*. CEU Press, 2007; *Pakier M., Stráth B.* *A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance*, Berghahn Books, 2010; *Politics of Memory in Post-Communist Europe (History of Communism in Europe)*. Series: *History of Communism in Europe*. Zeta Books, 2010; *Miller A., Lipman M.* (eds.). *The Convolutions of Historical Politics*. CEU Press, 2012; *Blacker U., Etkind A., Fedor J.* *Memory and Theory in Eastern Europe*. Palgrave MacMillan, 2013; *François É., Konczal K., Traba R., Troebst S.* *Geschichtspolitik in Europa seit 1989, Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich*. Wallstein Verlag 2013; *Pakier J., Wawrzyniak M.* (eds.). *Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives*. Berghahn Publishers, 2015; *Tismaneanu V., Jacob Bogdan C.* (eds.). *Remembrance, History, and Justice. Coming to Terms with Traumatic Pasts in Democratic Societies*. CEU Press, 2015.

² См., например: *Wolfrum E.* *Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990*. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt, 1999; *Fein E.* *Geschichtspolitik in Russland. Chancen und Schwierigkeiten einer demokratisierenden Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit am Beispiel der Tätigkeit der Gesellschaft MEMORIAL*. Munster; Hamburg; London: LIT Verlag, 2001; *Касьянов Г.* *Danse macabre. Голод 1932–1933 років у політиці, масовій свідомості та історіографії (1980-ті – початок 2000-х)*. Наш час, 2010; *Stryjek T.* *Ukraina przed końcem Historii. Szkice o polityce państwa wobec pamięci*. Warszawa, 2014; *Малюгова О.* *Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы российской идентичности*. РОССПЭН, 2015; *Гайдай О.* *Кам'яний гість. Ленін у Центральній Україні*. Лаурис, 2016. Когда эта книга была уже закончена, вышел труд на похожую тему объемом в 1200 (!) страниц. См.: *Грищенко О.* *Президенти і пам'ять. Політика пам'яті президентів України 1994–2014: підґрунтя, послання, реалізація, результати*. Київ: К. І. С., 2017.

Таким образом, эта книга – своего рода общий отчет об исторической политике на Украине, сделанный в общеевропейском контексте. Это попытка очертить основные тенденции и явления, связанные с использованием прошлого в интересах конкретных групп.

Книга состоит из трех разделов.

В первом разделе я очерчиваю концептуальные рамки данного исследования и предлагаю читателю набор базовых формулировок и понятий, не претендуя на какие-либо методологические новации. Здесь же я рассматриваю основные тенденции развития исторической политики в трех регионах: «Западной Европе», «Восточной Европе» и на постсоветском пространстве.

Второй раздел посвящен описанию способов действий и функций основных акторов исторической политики на Украине: государства, негосударственных институтов и тех, без кого историческая политика была бы невозможна, – историков.

И наконец третий, самый объемный раздел посвящен практикам исторической политики: описанию и анализу действий, следствий и последствий. Я рассматриваю процесс «национализации» прошлого в его взаимодействии и борьбе с предыдущей советской версией украинской истории и памяти.

Как оказалось, даже формата монографии оказалось недостаточно для исчерпывающего отчета о теме, заявленной в названии. Много сюжетов и событий осталось за рамками этого исследования, многие затронуты достаточно поверхностно и схематично.

Я не претендую на то, что в своих рассуждениях мне всегда удавалось удержаться в рамках дисциплинарной объективности, удачно описанной А. Мегиллом. Я был не просто наблюдателем и свидетелем, но и участником описываемых в книге процессов. Я не ограничивался академическими дискуссиями и выходил со своими идеями и рассуждениями к более широким кругам слушателей, собеседников и оппонентов. Реакции, высказывания и действия «широких кругов любителей истории», как, впрочем, и многих коллег, решивших послужить делу исторической справедливости, создают атмосферу, не всегда пригодную для дыхания.

Мне, как и некоторым другим моим коллегам, пытающимся считать историю научной дисциплиной, а не только рупором правящего класса или «общественного интереса», довелось узнать о себе много нового. Я составил личную коллекцию эпитетов, угроз и специфических пожеланий в свой адрес, высказанных заочно и напрямую: мне удалось побывать «рукой Москвы и Вашингтона», «либерастом», «засланным казачком»; разумеется, я не упоминаю тут словарный запас, характерный для заборов, общественных туалетов и риторики погромов. Может быть, эта коллекция когда-нибудь пригодится для понимания общественной атмосферы и уровня культуры общения того времени, когда о проблемах прошлого получили возможность высказываться не только интеллектуалы и специалисты, но и «люди с улицы», и недалеко ушедшие от них политики, и «акробаты пера».

В любом случае я старался удержаться в рамках взвешенного академического подхода к проблемам, содержащим заметный эмоциональный потенциал и ставящим этические вопросы. При этом ни само явление, ни подавляющее большинство его субъектов не вызывали и не вызывают у меня симпатий не только в силу этических, эстетических или профессиональных соображений, но и потому, что историческая политика и ее присные явно или имплицитно (в украинском случае все более явно) демонстрируют неумное желание заставить ходить строем людей, не приспособленных к этому увлекательному занятию.

В этом несколько затянувшемся исследовательском походе моральную, интеллектуальную и нередко организационную поддержку мне оказывали коллеги и друзья, которым я выражаю свою самую искреннюю благодарность.

Прежде всего это Алексей Миллер, с которым мы начали обсуждать проблемы взаимодействия истории и политики еще в середине нулевых: одним из результатов наших дискуссий стала книга, до сих пор вызывающая большой читательский интерес. Несмотря на дружеские

отношения, а может быть, именно благодаря им наши дискуссии носили иногда весьма острый характер и мы нередко оставались не только при своем мнении, но и при взаимном уважении.

Не менее важным для меня было общение с Алексеем Толочко, ученым высшего класса, эрудитом и интеллектуалом, к счастью непубличным. Оба Алексея были первыми читателями и доброжелательными критиками этой книги.

Первоначальный вариант книги был прочитан и прокомментирован польским коллегой Томашем Стрыком – одним из наиболее компетентных исследователей современной украинской историографии и политики памяти.

Комментарии профессионалов такого калибра, несомненно, способствовали повышению качества текста. Многие из их замечаний и предложений, особенно касающихся крайностей интерпретаций, я учел, многие оставил за полями, так что мои друзья и коллеги причастны к сильным сторонам книги. За все ее недостатки отвечает только автор.

На разных этапах помощь в сборе материалов и работе над текстом оказывали мои аспиранты – Александра Гайдай и Андрей Любарец, я признателен им за их время и старания и надеюсь, что наше сотрудничество было взаимовыгодным.

Финансовую и организационную поддержку в работе над книгой я получал в рамках украинско-швейцарского проекта «Украина регионов», слова благодарности я адресую гражданам Швейцарии: Кармен Шайде, Ульриху Шмидту и Бенедикту Хаузеру.

Большая часть текста этой книги была подготовлена во время стажировки в Коллегиуме имени Имре Кертеса Университета Йены (Германия). Особая благодарность группе *Students assistance* за помощь в снабжении литературой и освоении работ немецких коллег. Окончательная версия текста сложилась в период моего пребывания в Базельском университете в рамках программы *Ukrainian Research Initiative in Switzerland (URIS)*.

Раздел I

Понятия и контексты

Глава 1. Понятия

Историческая память Историческая политика Базовые определения История и память Украинское измерение

Я не ставлю перед собой цели давать здесь обстоятельный анализ необъятной литературы по вопросам взаимоотношения истории и памяти, истории и политики, традиции и культуры, мифа и научного знания, исторической эпистемологии и исторического сознания. Обращение к базовым понятиям и подходам имеет в данном случае сугубо утилитарное значение: я использую их для установления понятийной рамки собственного повествования, включенных в него интерпретаций и объяснений.

Опираясь на опыт некоторых исследователей этой темы, уже предложивших свое видение проблемы, я сформулирую собственные определения, на основе которых будет строиться повествование.

Историческая память

На первый взгляд термин «историческая память» тавтологичен: память по определению имеет дело с прошлым, то есть с тем же, с чем имеет дело история. В то же время он содержит внутреннее противоречие: память индивидов или групп может не совпадать с историей, предлагающей некий нарратив, игнорирующий вариации памяти индивидов и групп; на это обратил внимание «поздний» М. Хальбвакс, пересматривая свои идеи относительно взаимодействия истории и памяти.

Тем не менее прилагательное «историческая» является вполне уместным, когда мы имеем в виду именно «коллективную память», хотя бы потому, что инженеры, промоутеры и носители этого вида памяти нередко отождествляют его с историей (то есть с конкретным нарративом о прошлом) и в более широком смысле – с прошлым как таковым, иногда настолько, что в их представлениях граница между историей и памятью стирается.

Для Украины наиболее показательный пример такого подхода: конструирование исторической памяти о голоде 1932–1933 годов, или Голодоморе. Создание исторического нарратива о голоде преподносилось как процесс восстановления памяти сообщества. История (включая профессиональную историографию) выполняла функции коллективной памяти, она превращалась в мнемонику, а историки – в мнемотехников.

В России подобным же образом «воссоздавалась» коллективная память о «Великой Отечественной войне»: после деконструкции советского варианта, имевшей место в 1990-е, с начала 2000-х фактически речь шла о восстановлении именно советского стандарта репрезентаций этого события. Память и в публичном дискурсе, и даже в историографии нередко отождествлялась с историей.

Историческую память обычно представляют как разновидность «коллективной памяти». Бум исследований, посвященных разным видам, функциям и воплощениям «коллективной памяти», ее консюмеризация, появление «публичной истории» нарастили такой объем науч-

ной, научно-популярной и псевдонаучной литературы³, что простое описание и перечисление основных идей и предложений разных дисциплин требуют отдельного исследования.

Поэтому я ограничусь ссылками на самые известные исследования и фигуры, оказавшие наиболее ощутимое воздействие на формирование интерпретационных рамок и познавательных возможностей явления, называемого «коллективной памятью». Упоминание некоторых из них уже имеет ритуальный характер в любой работе, посвященной данной теме, поэтому я обращаюсь к ним исключительно с целью очертить базовые понятийные рамки моего собственного исследования. Я намеренно не обращаюсь к достаточно объемному массиву литературы⁴, детализирующей, уточняющей или «расширяющей» основные тезисы, составляющие некую общую концептуальную базу *memory studies*. Такой анализ не входит в список моих задач.

Интеллектуальную генеалогию *memory studies* и термина «коллективная память» принято начинать с работ французского социолога Мориса Хальбвакса, впервые артикулировавшего базовые понятия (включая такие, как *Les cadres sociaux de la mémoire* «Социальные/общественные рамки памяти», 1926 и *La mémoire collective* «Коллективная память»⁵, 1950). Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что термин (как понятие социологическое) возник в интеллектуальной среде зарождающейся школы «Анналов»: в любом случае первым, кто отреагировал на формулировки Хальбвакса, был Марк Блок⁶, а возникшая впоследствии «история ментальностей» явно перекликается с его идеями.

Практически одновременно с М. Хальбваксом немецкий историк искусств Аби Варбург сформулировал понятие *soziale Gedächtnis* («социальная память»), которое было достаточно близким к идее французского коллеги⁷ – по сути, речь шла о тех же социальных рамках, формирующих и опосредующих структуры коллективной памяти; впрочем, здесь автора интересовала коллективная память, отображенная в произведениях искусства.

Далее возникает ставшая уже канонической фигура французского историка Пьера Нора с его монументальным (в прямом и переносном смысле) проектом *Les Lieux de mémoire*⁸ (стандартный перевод – «места памяти», однако встречается и не менее содержательный – «пространства памяти»). Рядом с П. Нора наиболее прилежные исследователи упоминают его современников и соратников по научной школе (так называемое «третье поколение» школы «Анналов») Филиппа Арьеса и Жака Ле Гоффа.

³ Содержательный и весьма репрезентативный обзор интеллектуальной и общественной генеалогии исследований коллективной памяти в 1920–1990-е годы можно найти здесь: *Olick J. K., Robbins J. Social Memory Studies: From «Collective Memory» to the Historical Sociology of Mnemonic Practices* // *Annual Review of Sociology*. 1998. № 2. P. 105–140. Обзор новейших тенденций в исследованиях политики памяти, особенно в сравнительном контексте «Западная – Восточная Европа», можно найти здесь: *Pakier M., Wawrzyniak J. Memory and Change in Eastern Europe. How Special?* // *Pakier J., Wawrzyniak M. (eds.). Memory and Change in Europe. Eastern Perspectives*. Berghahn Publishers, 2016. P. 1–19.

⁴ Выборочный анализ литературы из таких сфер, как культурная антропология, политология, социальная философия, история культуры, социальная психология, музееведение и т. д., говорит о том, что бум *memory studies* связан скорее с дроблением «больших вопросов», реконцептуализацией в рамках разных дисциплин.

⁵ *Halbwachs M. La mémoire collective*. Paris, 1950. Данное издание, являющееся посмертной публикацией рукописей М. Хальбвакса, как и ряд статей, посвященных его идеям, можно найти в открытом доступе: http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/memoire_collective/memoire_collective.html; дополненное и исправленное издание: *Halbwachs M. La mémoire collective / Nouvelle édition critique établie par G. Namer*. Paris: Albin Michel, 1997; английский перевод: *Halbwachs M. On Collective Memory / Ed. and trans. Lewis A. Coser*. Chicago, 1992. Фрагменты перевода с французского издания на русский язык см. в тематическом выпуске журнала «Неприкосновенный запас»: *Хальбвакс М. Коллективная и историческая память* // *Неприкосновенный запас*. 2005. № 2–3.

⁶ *Bloch M. Mémoire collective, traditions et coutumes* // *Revue de synthèse historique*. 1925. № 118–120. P. 72–83.

⁷ *Forster K. Aby Warburg's History of Art: Collective Memory and Social Mediation of Images* // *Daedalus*. Winter 1976. P. 169–176.

⁸ Думаю, можно обойтись без обязательной ссылки на результаты этого исследовательского мегапроекта, отображенные в семитомнике с аналогичным названием. Сошлемся на англоязычное издание, включающее 46 статей (из более чем 130), вышедшее в США: *Nora P. Realms of Memory: Rethinking the French Past*. 3 vols. New York: Columbia University Press, 1996–1998.

В конце 1980-х – начале 1990-х состоялось своего рода второе пришествие М. Хальбвакса, теперь уже в англоязычный мир гуманитаристики. Это событие совпало с ростом общественного и научного интереса к проблемам «коллективной памяти»; идеи французского социолога пришлось весьма кстати и оказали огромное влияние на развитие *memory studies*.

В последние двадцать лет, как раз в период бума исследований коллективной памяти, наиболее значимыми фигурами, в некотором роде продолжающими дело М. Хальбвакса, можно считать американского историка Патрика Хаттона с его фундаментальной книгой «История как искусство памяти», британского социолога Пола Коннертона, освежившего тему книгой «Как общества помнят» и предложением обратить внимание на способы передачи памяти через телесные и комеморативные практики⁹, американского социолога Джеффри Олика, реинтерпретировавшего понятие «коллективной памяти», и немецких историков Яна и Алейду Ассман, дополнивших базовый словарь этого исследовательского поля дихотомией «коммуникативная – культурная память».

Обратимся к тем определениям коллективной памяти, которые помогут более четко определить основные понятийные рамки нашего исследования.

Д. Олик предлагает учитывать различия между «коллективной памятью» (*collective memory*) и «сборной памятью» (*collected memory*) – в английском звучании терминов угадывается приятная уху и глазу игра слов. «Сборная память», по его мнению, может представлять собой сумму или скорее набор сходных индивидуальных памятей того или иного сообщества, группы. При этом автор признает, что в процессе «собираения» однотипных индивидуальных памятей, коррелирующих одна с другой, индивидуальные версии не могут избежать трансформаций, связанных с взаимодействием с другими, пускай очень похожими версиями¹⁰.

«Коллективная память» – это противоположность «сборной памяти», поскольку здесь отсутствует набор воспоминаний индивидов, а присутствует коллекция общих для всех членов сообщества дефиниций, символов, образов, достаточно независимых от субъективного восприятия этих индивидов. Нетрудно обнаружить, что «...четко видимые структуры памяти и воспоминания, – которым общества отдают должное достаточно долго, – демонстрируют удивительную неуязвимость к усилиям отдельных индивидов, стремящихся к тому, чтобы избежать их. Институты, обладающие властью, устанавливают высшую ценность одних историй по отношению к другим, определяют способы передачи и образцы памятования того, что индивиды могут и должны помнить, их мотивы и способы актуализации [коллективной] памяти сильно отличаются от работы индивидуальной памяти»¹¹.

Термин «коллективная память», по мнению Д. Олика, страдает от чрезмерной универсальности, поэтому можно предложить минимум три варианта обращения с ним. Во-первых, можно обратиться к близким по значению понятиям: *миф, традиция, коммеморация* – и таким образом конкретизировать область исследования или интерпретации. Во-вторых, можно отнести его только к самым общим формам публичного дискурса, описаниям и образам прошлого, говорящим от имени определенной общности или группы. И, наконец, можно сделать его предельно обобщенным, когда термин «коллективная память» апеллирует к широкому набору мнемонических процессов и практик и к их результатам как на индивидуальном, так и на коллективном уровне¹².

⁹ Connerton P. How Societies Remember. Cambridge University Press, 1989. Стоит обратить внимание на то, что П. Коннертон рассматривал и другую сторону памяти, а именно способы и формы забывания. См.: Connerton P. How Modernity Forgets. Cambridge University Press, 2009, а также любопытную статью о типах забывания: Connerton P. Seven types of forgetting // Memory Studies. 2008. № 1. P. 59–71.

¹⁰ Olick J. K. The Politics of Regret: On Collective Memory and Historical Responsibility. New York; London, 2007. P. 23.

¹¹ Ibid. P. 28–29.

¹² Ibid. P. 33–34.

Достаточно близким к этим рассуждениям можно считать предложение Яна и Алейды Ассман разделять коллективную память на коммуникативную и культурную (1987). Коммуникативная память (подобно «сборной памяти») – явление, больше относящееся к повседневному общению между индивидами. Коммуникативная память предельно индивидуализирована и слабо структурирована. Она функционирует в пределах небольшой социальной группы, границы которой как раз определяются этой общей памятью, передаваемой в основном через вербальное общение, и через него же видоизменяется. Она напрямую связана с определенными социальными ролями индивидов внутри группы и формированием социальной идентичности. Коммуникативная память, как правило, вписывается в срок жизни трех-четырех поколений и затем угасает вместе со сменой поколений и увеличением «срока давности» ее начальных форм.

Противоположностью коммуникативной служит культурная память. Ее формирование и функционирование связаны с традицией, которая, в свою очередь, связана с властью. Культурная память навязывается индивиду извне, в этом смысле она противостоит коммуникативной памяти, более того, может конфликтовать с ней. Культурная память является частью культурной идентичности групп и выступает по отношению к индивидам как форма идентичности, определяемая извне.

Если коммуникативная память имеет дело с достаточно конкретным, «социальным» временем, например легко измеряемыми периодами жизни поколений, то культурная память измеряет время историческими периодами, время здесь мифологизировано. Культурная память формируется и поддерживается институтами, общественными или государственными, она может существовать и передаваться столетиями и тысячелетиями. Доступ к формированию, сохранению и передаче культурной памяти имеют только люди, которым общество или государство делегирует такие полномочия, это профессионалы мнемотехники: от служителей культа до писателей, историков и архивистов¹³.

Международная энциклопедия политической науки дает определение «исторической памяти» через описание функций последней: «Концепт исторической памяти... имеет дело со способами, с помощью которых группы, сообщества и нации конструируют и идентифицируют себя с определенными историческими нарративами или событиями»¹⁴. Заметим, что исторический нарратив – это не только официальная история (мастер-нарратив), это может быть и сюжетная линия, фактография, интерпретационная стратегия, выраженная в художественных произведениях, визуальных репрезентациях и т. п.

Нетрудно заметить точку, в которой сходятся все исследователи, – противопоставление и сравнение индивидуальной (сборной/коммуникативной) и коллективной/культурной памяти (что не исключает их тесного взаимодействия) с целью выделить в самостоятельную категорию тот вид памяти, который является объектом целенаправленного конструирования, социальной, культурной, политической инженерии. Коллективная (культурная) память предполагает наличие политического интереса. Культурная/коллективная память – именно тот вид памяти, который можно отождествлять с исторической памятью.

Общим местом стал тезис, что проблема исторической памяти имеет непосредственное отношение к вопросу о власти: как сугубо политической, так и власти дискурса. Стоит вспомнить утверждение Ж. Ле Гоффа о том, что «...коллективная память была и есть важным вопросом в борьбе за власть между общественными группами. Для классов, групп или индивидов,

¹³ Впервые эти тезисы были сформулированы в конце 1980-х. В сжатом виде эти рассуждения представлены в: Assman J. *Communicative and Cultural Memory* // Erl A., Nünning A. (eds.). *Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook*. Berlin; New York, 2008. P. 109–118.

¹⁴ См.: Hite K. *Historical Memory* // Badie B., Berg-Schlosser D., Morlino L. (eds.). *International Encyclopedia of Political Science*, Sage, 2011 (On-line publication <http://knowledge.sagepub.com/view/intlpoliticalscience/n251.xml>).

которые правили и далее господствуют в истории обществ, их власть над памятью и забвением остается одной из наиглавнейших забот»¹⁵.

Историческая память как форма коллективной/культурной памяти является одновременно объектом и субъектом исторической политики, борьбы за власть¹⁶ и контроль над обществом – это и цель, и средство достижения цели. В этом смысле историческая память является главным объектом исторической политики.

Историческая политика

Термин «историческая политика» имеет почти полувековую историю. В 1970 году вышла книга известного американского историка Х. Зинна, название которой можно перевести именно как «Историческая политика»¹⁷. Сборник полемических эссе имел целью «развенчание» якобы имевшихся на тот момент претензий научного истеблишмента на «нейтральную», «объективную» историю. Гражданский пафос автора, ветерана Второй мировой войны и активиста антивоенного движения и движения за права человека 1960-х, сводился к утверждению так называемой «радикальной истории». Х. Зинн выступал как истинный «боец идеологического фронта», призывая историков к более активной «жизненной позиции» – эта позиция вполне соответствовала духу мятежных 1960-х. Автор не претендовал на первенство в изобретении термина, но с его помощью артикулировал проблему взаимодействия научной дисциплины и общества, в частности способности историков отвечать на запросы и вызовы современности, быть «общественно активными». Судя по всему, в данном случае мы имеем дело с первым появлением словосочетания «историческая политика» – скорее в публицистическом, чем в академическом дискурсе.

В 1980-е, во время знаменитого «спора историков» (*Historikerstreit*) в Западной Германии (1986–1989), термин «историческая политика» возник уже в несколько ином контексте и значении. Термин стал своего рода «побочным продуктом» дискуссии об основах национальной идентичности, развернувшейся между правоконсервативными и леволиберальными историками, общественными деятелями, журналистами, философами¹⁸. Дискуссия, начавшаяся с обсуждения страданий мирного населения Германии на завершающем этапе Второй мировой войны и героизма вермахта, защищавшего немцев от Красной армии (А. Хильгрюбер), быстро вышла за рамки чисто профессиональных дискуссий и приобрела общенациональные масштабы: в нее втянулись политики, журналисты, массмедиа. Особый резонанс вызвала статья известного историка, исследователя истории фашизма Э. Нольте в газете *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, в которой он опротестовал тезис об особой вине немцев в преступлениях нацизма, а сами эти преступления, по мнению его критиков, релятивизировал ссылками на подобные действия в других странах: геноцид и социцид, лагеря, депортации существовали до 1933–1945 годов. «Жемчужиной» высказываний Э. Нольте стало утверждение о том, что нацистские лагеря смерти были своего рода ответом на сталинский ГУЛАГ. К нему присоединился другой влиятельный историк, М. Штюрмер, утверждавший, что тот вариант восприятия прошлого, который возник у немцев (или был навязан им извне) после Второй мировой войны, фактически лишает их нормальной коллективной памяти и к тому же мешает свободному историческому поиску и дискуссии. Немцы заслуживают такого прошлого, которым они могут гордиться, поэтому нужно предоставить им именно такое прошлое.

¹⁵ Le Goff J. History and Memory / Translated by S. Rendall, E. Claman. Columbia University Press, 1992. P. 54.

¹⁶ Власть понимается здесь в широком смысле этого слова: политическая, духовная, социальная, культурная и т. д., включая то, что называют властью дискурса.

¹⁷ Zinn H. The Politics of History. 2nd ed. Chicago; Urbana: University of Illinois Press, 1990.

¹⁸ См. обзор дискуссии: Васильченко В. Германия после Холокоста. Спор историков и рождение современной Германии (<https://gorky.media/context/germaniya-posle-holokosta/>).

Поскольку М. Штюрмер был советником канцлера Г. Коля, интеллектуалы и общественные деятели левого и либерального толка (здесь столпом мнений был Ю. Хабермас) истолковали его позицию как манифест официальной позиции неоконсерваторов, находившихся у власти, и правых, выступавших со сходных позиций.

Эти идеи вписывались в рамки идеологических амбиций тогдашней правящей политической элиты, пытавшейся то ли восстановить, то ли обновить национальную идентичность немцев на основаниях культурного/этнического национализма. Оппоненты охарактеризовали эти действия как «историческую политику»¹⁹. Иными словами – как манипулирование историей (представлениями о прошлом) в конъюнктурных интересах определенной политической силы²⁰. В представлениях критиков «исторической политики» Г. Коля она могла привести к опасному прецеденту перекраивания прошлого с целью ревизии идеи об ответственности немцев за преступления нацизма. Отсюда, по их мнению, был прямой путь к реставрации тех составляющих исторической памяти и национальной идентичности, которые сделали возможным нацизм.

Из словаря публицистики и журналистики термин перекочевал в академический лексикон, потеряв при этом негативно-ироническое звучание. В 1999 году появилось капитальное исследование Эдгара Вольфрума «Историческая политика в Федеративной Республике Германии. Путь к западногерманской памяти, 1948–1990», в котором понятие «историческая политика» не только было использовано в титуле научной монографии, но и, видимо, впервые было сформулировано его научное определение: «Это вид деятельности и область политики, где разные акторы используют историю в своих специфических политических целях. Она адресуется обществу и выполняет задачи легитимации, мобилизации, политизации, скандализации, диффамации и т. п.; ключевой вопрос здесь: кто, какими методами, с какими намерениями и с какими результатами политически актуализирует обсуждаемый опыт прошлого»²¹.

Довольно быстро термин прижился в научной терминологии, и в первом десятилетии 2000-х поспела целая гроздь работ, где он фигурировал и в названии, и в понятийном аппарате историков, социологов, культурологов, политологов²².

В середине 2000-х, когда явления, описываемые термином «историческая политика», обострились как в «старой Европе», так и в обновленном Евросоюзе, пополнившимся более чем десятком новых членов, он обрел актуальность и в общественно-политическом новоязе.

Вряд ли можно считать неожиданностью, что это произошло в Польше, где «вопросы истории» традиционно вызывают большой общественный интерес. Правоконсервативные политики (речь идет о партии «Право и справедливость» и их союзниках), пришедшие к вла-

¹⁹ С. Трёбст считает, что в этой дискуссии термин «историческая политика» впервые использовал историк Кристиан Майер. См.: *Troebst S. Geschichtspolitik*. Docupedia (<https://docupedia.de/zg/Geschichtspolitik>). Он же приводит точку зрения политолога Гаральда Шмидта, указавшего на то обстоятельство, что в журналистике этот термин использовался еще в 1930-е годы именно в контексте манипуляций прошлым в интересах настоящего: *Schmid H. Vom publizistischen Kampfbegriff zum Forschungskonzept. Zur Historisierung der Kategorie «Geschichtspolitik» // Geschichtspolitik und kollektives Gedächtnis. Erinnerungskulturen in Theorie und Praxis. Göttingen, 2009. S. 53–75.*

²⁰ Более подробно см. сборник: *Forever in the shadow of Hitler? Original documents of the Historikerstreit, the controversy concerning the singularity of the Holocaust / Trans. by J. Knowlton, T. Cates. Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press, 1993;* в более широком контексте проблемы и развитие исторической политики в Германии после «спора историков» см.: *Berger S. German History Politics and the National Socialist Past // Miller A., Lipman M. (eds.). Convolutions of Historical Politics. New York; Budapest: CEU Press, 2012. P. 24–44.*

²¹ *Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948–1990. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999. S. 25.*

²² *Fein E. Geschichtspolitik in Russland. Chancen und Schwierigkeiten einer demokratisierenden Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit am Beispiel der Tätigkeit der Gesellschaft Memorial. Münster; Hamburg; London: LIT Verlag, 2001; Heinrich H.-A., Kohlstruck M. Geschichtspolitik und sozialwissenschaftliche Theorie. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2008; Fröhlich C., Heinrich H.-A. (Hrsg.). Geschichtspolitik. Wer sind ihre Akteure, wer ihre Rezipienten. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2004; Francois E., Konczal K., Traba R., Troebst S. (Hrsg.). Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich. Göttingen: Wallstein Verlag, 2013.*

сти в конце 2005 года, и близкие к ним представители общественной мысли заявили обществу о необходимости реализации новой исторической политики (*polityka historyczna*)²³ – в интересах укрепления польской национальной идентичности и единства нации. Фактически речь шла о фронтальном пересмотре отношения к прошлому, о целенаправленных мерах по восстановлению коллективной памяти – с отсылкой к романтическому национализму образца XIX века²⁴. Инициаторы и промоутеры новой исторической политики призывали не ограничиваться пересмотром трагедий и героических страниц XX века. Директор Института национальной памяти Януш Куртыка предлагал обратиться к опыту и особой исторической роли Польши начиная с XVI столетия²⁵.

Дискуссия, вспыхнувшая в Польше по поводу «новой исторической политики», по масштабам и уровню эмоций напоминала немецкий *Historikerstreit*. Однако дело было не только в формальных аналогиях. В обоих случаях побудительным мотивом были проблемы с формированием или переформатированием идентичности. В обоих случаях наблюдалась попытка ревизии прошлого в интересах настоящего, в частности декларируемой идеи «консолидации» нации. И в Германии, и в Польше инициаторы рассчитывали на некий терапевтический эффект, возникающий благодаря воображаемой «нормализации» прошлого, восстановлению в коллективной памяти тех фрагментов, которые, по их мнению, несли позитивный потенциал. В обеих странах инициаторами произошедшего были правоконсервативные политики и националисты. И в обоих случаях они натолкнулись на мощное сопротивление тех сегментов общества, которые принято называть либеральными.

Ирония истории заключалась в том, что в Германии термин «историческая политика» в общественном дискурсе использовался оппонентами этой политики как негативный. В Польше середины 2000-х промоутеры «исторической политики» находили в нем жизнеутверждающую силу, необходимую в деле подъема национальной идентичности. В их представлениях историческая политика была вполне естественным явлением, чем-то сродни экономической или социальной политике²⁶. Правда, в Польше, в отличие от Германии, у «новой исторической политики» образца 2005 года поначалу почти не нашлось сторонников в среде профессиональных историков. Впрочем, одним из результатов этих дискуссий стало то, что термин «историческая политика» (*polityka historyczna*) вошел в академический лексикон.

Уже совсем недавно немецкий исследователь С. Трёбст, посвятивший биографии термина отдельное исследование, выяснил, что сходные понятия присутствуют еще в двух научных языках: английском (*politics of history*) и французском (*politique du passé*)²⁷. Стоит обратить внимание на то обстоятельство, что и в английском, и во французском академическом словаре этот термин получает права гражданства именно в конце 1990-х – начале 2000-х, видимо как реакция на общественно-политические вызовы, так что те явления, которые описываются термином «историческая политика», актуализировались не только в Центрально-Восточной, но и в «старой Европе».

²³ См. более подробно: Traba R. *Przeszłość w teraźniejszości: polskie spory o historię na początku XXI wieku*. Poznań, 2009; Cichocka L., Panecka A. (eds.). *Polityka historyczna: historycy – politycy – prasa*. Warszawa, 2005.

²⁴ См.: Traba P. Польские споры об истории в XXI веке // Миллер А., Липман М. (ред.). *Историческая политика в 21 веке*. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 69–71. Для понимания общего исторического контекста возникновения «новой исторической политики» стоит также обратиться к исследованию Эвы Охман, посвященному «регионализации» исторической памяти в современной Польше: Ochman E. *Post-Communist Poland: Contested Past and Future Identities*. Routledge, 2014.

²⁵ Polska polityka historyczna // *Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej*. 2006. № 5 (64). S. 16–17.

²⁶ Stobiecki P. *Historians Facing Politics of History. The Case of Poland* // Kopeček M. (ed.). *Past in the Making. Historical Revisionism in Central Europe after 1989*. CEU Press, 2008. P. 180–181.

²⁷ Troebst S. *Geschichtspolitik. Politikfeld, Analyse Rahmen, Streitobjekt* // *Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich*. S. 15–34. Этот очерк на данный момент является наиболее информативным и полным исследованием приключений термина «историческая политика» и его аналогов.

Итак, в 2000-е понятие «историческая политика» и обозначаемый им комплекс явлений утвердились как в общественно-политическом, так и в научном словаре.

Зная это, стоит помнить, что историческая политика как инструментальное использование истории в политических целях – явление достаточно давнее. Любой историк может привести немало число примеров использования описываемого, воображаемого, представляемого прошлого для текущих нужд настоящего – еще с тех времен, когда появилась письменность, государство и потребность описывать прошлое. Многие из того, что мы сейчас определяем как «историческую политику», возникло и успешно функционировало до появления самого этого понятия.

Отличие современной исторической политики от ее прототипов в прошлом состоит в масштабах и средствах. Историческая политика – явление Нового и Новейшего времени, ее зарождение и развитие связаны с индустриальным обществом, появлением национального государства, массовой политики, стандартизированных национальных языков, массового образования, в том числе исторического. В этом смысле историческая политика существует с тех пор, когда история превратилась в средство формирования массовой лояльности – не только и не столько по отношению к сюзеру, сколько к самому крупному социально-культурному и политическому сообществу Нового времени – нации.

Индустриальное общество не только провоцирует и обуславливает возникновение наций, но и создает организационно-технические и культурные предпосылки для формирования гомогенных форм «коллективного сознания»²⁸. Распространение грамотности на основе стандартизированных и кодифицированных национальных языков, массмедиа, стандартизация образования и превращение школы, а затем и университета в массовое явление, индустриализация средств хранения и передачи информации – все это создает инфраструктуру для формирования не только неких стандартных форм «массового/коллективного сознания», но и для тех видов деятельности, которые позволяют активно влиять на его формирование, в частности для исторической политики.

В XIX–XX веках целенаправленное использование истории и коллективной памяти в утверждении доминирующих политических дискурсов и формировании системы лояльностей становится неотъемлемой частью внутренней и внешней политики государств, средством формирования и легитимации наций, инструментом политической мобилизации²⁹. «Изобретение традиций», идеологическая унификация и мобилизация, достижение некоего уровня культурной гомогенности, необходимой для обеспечения коллективной лояльности нации и государству, ведение современной войны были бы невозможными без манипуляций историей и «коллективной памятью».

Возникновение термина «историческая политика» в 1990-е, его общественная и академическая легитимация совпали с качественно новым уровнем отображаемого им явления. Технологические усовершенствования в сфере передачи, хранения и распространения информации, развитие наук о человеке и о его психологической природе, тотальность проникновения массмедиа во все сферы человеческой жизни и во все закоулки планеты создали предпосылки для беспрецедентного по масштабам манипулирования «коллективным сознанием». Развитие средств коммуникации резко повысило мобилизационные возможности исторической политики. Технологические и организационные возможности государства и других агентов исторической политики возросли до невиданных ранее масштабов.

В то же время утверждение политического плюрализма, прозрачность культурных границ и распространение демократии парадоксальным образом содействовали росту конфликто-

²⁸ Здесь я отсылаю к работам Е. Геллнера и К. Дойча, обосновавшим эти тезисы.

²⁹ Из новейших публикаций на эту тему см. фундаментальное как с точки зрения объема, так и с точки зрения интерпретаций обозрение С. Бергера и К. Конрада: *Berger S., Conrad C. The Past as History. National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe*. Palgrave Macmillan, 2015.

генности исторической политики: политические свободы и расширенный доступ к средствам производства информации позволяют любым группам интереса быстро и эффективно организоваться для артикуляции и распространения нужных им версий прошлого, для организации информационного, психологического и политического давления на оппонентов. Таким образом, не только резко возросло количество агентов исторической политики, но и изменилось ее качество.

Базовые определения

Приведенные здесь примеры рассуждений о природе коллективной памяти, исторической политике, политике памяти интересуют нас в одном практическом аспекте: соотношение понятий «историческая память» – «коллективная память», «историческая политика» – «политика памяти». В любом случае рассуждения о коллективной памяти выходят на проблемы формирования коллективной идентичности. Эти последние так или иначе указывают на необходимость определить объекты и субъекты идентичности. А далее любой исследователь логикой поиска причин и следствий приходит к необходимости выяснения роли институтов и групп интересов, то есть политики, если, конечно, предметом поиска не являются сугубо специальные аспекты искусствоведения, этнографии или культурологии.

Опираясь на приведенные выше термины, попробуем сформулировать некие общие определения, необходимые нам как для дальнейших рассуждений, так и для организации связанного нарратива, описывающего историческую политику на Украине и на посткоммунистическом пространстве с конца 1980-х до 2016 года.

«Историческая память» – это форма «коллективной», или «культурной», памяти, та ее разновидность, которая претендует на статус традиции (разумеется, изобретенной, сконструированной). «Историческая память» – это мифологизированная форма групповых представлений о прошлом, существующих, как правило, в виде набора символов и «мест памяти». В условиях информационного общества она приобретает статус гиперреальности, серьезно влияющей на то, что принято считать реальностью.

«Историческая память» – это целенаправленно сконструированный средствами исторической политики относительно устойчивый набор взаимосвязанных коллективных представлений о прошлом той или иной группы, кодифицированный и стандартизированный в общественных, культурных, политических дискурсах, стереотипах, мифах, символах, меморических и коммеморативных практиках.

«Историческая память» является, с одной стороны, результатом культурной, социальной, политической инженерии, а с другой – инструментом конструирования культурной, социальной, политической, религиозной идентичностей, в эпоху национализма синтезирующихся в идентичность национальную. Историческую память можно считать важной составляющей социального и культурного, в более общем плане – символического капитала (П. Бурдьё)³⁰.

Инструментализация исторической памяти средствами исторической политики может приводить к тому, что некоторые ее формы и явления сакрализуются и приобретают черты гражданской религии.

«Историческая политика» – это разновидность политики, целью и содержанием которой является целенаправленное конструирование и утилитарное использование в политических целях «исторической памяти» и других форм коллективных представлений о прошлом и его репрезентаций, в том числе профессиональной историографии.

³⁰ Стоит обратить внимание на любопытные размышления Ильи Калинина по поводу символического капитала и ренты в исторической политике на примере России: Калинин И. Бои за историю: прошлое как ограниченный ресурс // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2011. № 4. С. 330–340; Он же. Прошлое как ограниченный ресурс: историческая политика и экономика ренты // Неприкосновенный запас: Дебаты о политике и культуре. 2013. № 2. С. 200–214.

Историческая политика осуществляется в интересах политических, культурных, этнических и других общественных групп в борьбе за власть, за ее удержание или перераспределение. Историческая политика является средством обеспечения политической, культурной или иных форм лояльности крупных общественных групп, а также удержания идеологического и политического контроля над ними.

Историческая политика имеет дело с присвоением и созданием символического капитала, который может иметь отношение к генерированию социального, политического и даже экономического капитала. Этим определяется сила, влияние и привлекательность исторической политики для разных социальных агентов.

Наиболее выразительной чертой исторической политики является *идеологическая и политическая инструментализация как истории* (то есть упорядоченной версии знаний и представлений о прошлом), так и памяти, *утилитарное использование истории и памяти во внутренней политике, юридических и законодательных практиках, идеологических, дипломатических и военных конфликтах. Историческая политика, как правило, апеллирует к уже существующим культурным стереотипам или создает новые.* Историческая политика специализируется на создании и воспроизводстве симулякров, создает гиперреальность³¹, которая способна не только активно воздействовать на реальность, но и замещать ее.

Политика памяти в этом случае является более узким термином, охватывающим практики, связанные преимущественно с формированием коллективной/исторической памяти, и не включающим интервенции в сферу профессионального историописания и дидактической истории.

Круг агентов исторической политики во второй половине XX столетия неуклонно расширялся. Если раньше здесь безраздельно господствовало государство (как в тоталитарных и авторитарных, так и в демократических обществах), то сейчас в нее включились институты гражданского общества, на нее могут активно влиять частные лица, бизнес-структуры, церковь, местные общины, негосударственные средства массовой информации, учебные заведения (например, университеты), неформальные виртуальные сообщества (группы в социальных сетях, например) и отдельные индивиды. Государство по-прежнему задает здесь тон, однако его представителям приходится все больше сверять свои действия с общественным мнением, интересами негосударственных институтов и локальных сообществ.

Эта ситуация порождает тенденцию как к взаимодействию и сотрудничеству между государственными институтами и «третьим сектором», так и к их имитации. Формирование транснациональной и даже глобальной исторической памяти о Холокосте было бы невозможно без такого взаимодействия и сотрудничества. На Украине продвижение канонической версии Голодомора как геноцида первоначально было делом преимущественно общественных организаций, а памятование Холокоста и сейчас остается в основном полем деятельности негосударственных агентов памяти. Историческая память о Волынской трагедии в Польше также долгое время была заботой преимущественно общественных организаций. В России одной из особенностей исторической политики можно считать использование государством лояльных ему негосударственных организаций, или так называемых GONGO (*Government-Organized Non-Governmental Organizations*).

Я предлагаю различать несколько типов, или моделей, исторической памяти.

Начну с важного замечания Майкла Бернхарда и Яна Кубика, предложивших свою таксономию «режимов памяти»³² в посткоммунистических обществах. Оно касается неустойчиво-

³¹ Этот термин Жана Бодрийяра идеально подходит к характеристике социально-культурных продуктов исторической политики.

³² Режим памяти – это «набор институционных и культурных практик, предназначенных для публичного памятования определенного события или относительно четко сгруппированного набора взаимосвязанных событий и явлений прошлого». См.: Bernhard M., Kubik J. (eds.). Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. Oxford University

сти, текучести «режимов памяти», вызванной целым рядом обстоятельств: политической конъюнктурой, сменой акторов, находящихся у власти, и т. д.³³ В отличие от «режимов памяти», описываемые мной модели исторической памяти и соответствующей им исторической политики имеют склонность к стабильности, ригидности, по крайней мере две из них не эластичны.

Первую модель я предлагаю назвать *экслюзивной*. Она, во-первых, утверждает, навязывает каноническую гомогенную версию исторической памяти, во-вторых, исключает из нее некий набор мифов, представлений и репрезентаций прошлого, который мешает формированию ее «правильного» варианта, в-третьих, изымает из прошлого «чужеродные» элементы или стигматизирует их как чужие, вредоносные. Реализация такой модели, как правило, направлена на культурную и политическую гомогенизацию, отрицает плюрализм.

На Украине в рамках экслюзивной модели наблюдалось противостояние двух основных нарративов памяти³⁴, связанных с разными формами культурной и политической идентичности: *национального/националистического* и *советско-ностальгического*³⁵. В этом противостоянии периодически участвовали *имперско-ностальгический* нарратив, который подпитывал и *советско-ностальгический* (будучи по факту его союзником), и *национальный/националистический* (тут можно упомянуть ностальгию по Габсбургам)³⁶.

Экслюзивная модель по определению предполагает конфликт с теми вариантами памяти, которые не вписываются в ее идейный ряд и политические воплощения. Она предполагает формирование гомогенной идентичности в основном за счет или маргинализации и устранения тех репрезентаций прошлого, которые не вписываются в такую гомогенную идентичность, или за счет их ассимиляции. Впрочем, альтернативные варианты коллективной/исторической памяти не сбрасываются со счетов совсем, они используются в упомянутом конфликте как репрезентации Другого, и нередко этот Другой играет важную конституирующую роль для определения собственного коллективного национального Я. Репрезентации периода коммунизма в «Восточной Европе», представляемого как результат вторжения внешнего Другого, очень важны для осознания своего коллективного Я в качестве жертвы. Иными словами, экслюзивная модель удерживает Другого, но только в рамках собственных репрезентаций. Репрезентации, представляемые этим Другим, он отбрасывает.

Press, 2014. P. 15–16.

³³ Ibid. P. 16.

³⁴ Нарратив памяти – совокупность визуальных образов и текстов, предполагающих наличие повествования. Например, памятник или памятное место могут содержать текст. Визуальный ряд может содержать рассказ, повествование (например, барельефы в Мемориальном комплексе Великой Отечественной войны в Киеве или памятник Т. Шевченко в Харькове).

³⁵ Любая форма коллективной памяти содержит элементы ностальгии. В данном случае я констатирую результат такого процесса: существовал советский нарратив памяти, его развитие в 1990-е годы, по мере ухода советского опыта в прошлое, превратило его в советско-ностальгический.

³⁶ Смысловым ядром национального/националистического нарратива является идея уникальности, самобытности и независимости сообщества, именуемого нацией. Экслюзивная модель такого нарратива предполагает отождествление нации с гомогенным этническим/культурным/языковым сообществом, этносом. Отличительной чертой этого нарратива является тяга к архаичным, антикварным культурным формам и репрезентациям исторического опыта, что парадоксальным образом роднит его практики с практиками советского времени, редуцировавшими украинскую национальную идентичность к антикварно-этнографическим формам. В принципе можно было бы назвать весь этот нарратив националистическим, однако наличие в нем апологии и мифологии движения, называемого националистическим, обуславливает необходимость выделять в нем и более нейтральный «национальный» элемент. Богдан Хмельницкий, Михайло Грушевский и Леся Украинка принадлежат к «национальному», Степан Бандера, Украинская повстанческая армия и Организация украинских националистов – к «националистическому» нарративу. Советско-ностальгический нарратив не имеет четко выраженной центральной идеи, поскольку в нем утерян базовый принцип советской модели истории: классовый подход. В нем можно найти элементы, связанные с «ведущей» ролью русской культуры и русского языка. Этот нарратив настаивает на наднациональном единстве исторического опыта. Вследствие политической инструментализации он переориентирован на отрицание национального/националистического нарратива и прежде всего радикальных проявлений последнего. Имперско-ностальгический нарратив представлен рудиментарными формами, как правило связанными с региональными практиками памятования и культивированием региональных особенностей. В южных регионах (например, в Одессе) он связан с мифом о происхождении. В западных – с мифом об особой культурной и политической роли региона (например, «украинский Пьемонт»), имперское наследие актуализируется как признак цивилизационной приближенности к европейской истории.

Вторую модель можно описать как *инклюзивную*: она предполагает интеграцию в единое мемориальное и символическое пространство разных вариантов коллективной/исторической памяти и их объединение в некий общий нарратив, например объединенный идеей гражданского патриотизма. На Украине она представлена в основном ситуативно, как результат кратковременной политической конъюнктуры, а не как продукт продуманной стратегии.

Третья модель, назовем ее *смешанной (амбивалентной)*, основана на сосуществовании (но не слиянии) разных вариантов коллективной памяти, иногда идеологически и политически несовместимых, но уживающихся рядом то ли из-за отсутствия общественного интереса, то ли благодаря целенаправленной политике нейтрализации их идеологического содержания.

Разумеется, предложенные типологии³⁷ – всего лишь инструмент, необходимый для определения и анализа основной, доминирующей тенденции. В реальности чистых типов не существует. Нарратив памяти, предлагаемый и навязываемый империей, может функционировать в виде инклюзивной модели, то же самое можно сказать о советском официальном нарративе. Однако оба нарратива будут отрицать национальный/националистический в его политизированной форме, и тогда они будут носить признаки модели эксклюзивной. Национальный/националистический нарратив сам по себе отрицает идею инклюзивности, поскольку в его основе лежит идея гомогенного в языковом и культурном плане этноса, этнического/культурного национализма. На Украине национальный/националистический нарратив памяти возник на идее двойного антагонизма: с этническим Другим (этнос-угнетатели) и с политическим Другим (империи и Советский Союз).

Советско-ностальгический нарратив истории и памяти, как правило, соседствует и сочетается с имперским (имперско-ностальгическим) – не только в России, где это сочетание выглядит вполне естественным, но и на Украине. Если речь идет о региональных идентичностях, то самыми очевидными примерам будут Донбасс и Крым. Однако опыт исторической политики последних двадцати лет на Украине демонстрирует злую иронию истории. Национальный/националистический нарратив вполне может сочетаться с имперским: популярный, хотя и несколько мазохистский культ Франца-Иосифа и его эпохи в Галиции может быть тому свидетельством.

Еще более впечатляющим обстоятельством можно считать способность носителей и промоутеров национального/националистического нарратива воспроизводить культурные паттерны и модели поведения, характерные для советско-ностальгического антагониста: достаточно посмотреть на методы, формы, риторику и репрезентации так называемой «декоммунизации» 2015–2016 годов, удивительно напоминающие экстаз большевистского иконоклазма.

Содержание исторической политики на Украине в основном определялось взаимодействием и конфликтом между двумя нарративами памяти: *национальным/националистическим*

³⁷ В данном случае я не «изобретаю велосипед»: в современной литературе, особенно посвященной производству идентичностей, можно встретить достаточно ссылок на инклюзивные, эксклюзивные и амбивалентные формы идентичности, репрезентаций и разного рода таксономии нарративов памяти. Оглашу только начало списка тех украинских исследователей и публицистов, кто обращался к данной теме: Вячеслав Артюх, Виктория Середя, Владимир Кравченко, Ярослав Грицак, Василь Расевич, Юрий Шаповал, Андрей Портнов, Володимир Кулик, Микола Рябчук, Людмила Нагорна, Алла Киридон. Приведу несколько наиболее характерных примеров. Володимир Кулик, исходя из анализа дискурсивных практик в сфере политики памяти, выделял восточнославянский/советский и националистический нарративы. Владимир Кравченко, рассматривая разные формы репрезентации прошлого через призму идентичностей, предлагал различать такие формы идентичностей, связанных с коллективной памятью, как советская, православно-славянская, украинская нэтивистская и либерально-западная, размещая их между полюсами инклюзивной и эксклюзивной идентичностей. Микола Рябчук усматривал наличие двух проектов в политике памяти: украинский (он же националистический) и малороссийский, находящийся в оппозиции к советскому. См.: Кулик В. Націоналістичне проти радянського: історична пам'ять у незалежній Україні (<http://historians.in.ua/index.php/en/istoriya-i-pamyat-vazhki-pitannya/379-volodymyr-kulyk-natsionalistychne-proty-radianskoho-istorychna-pamiat-u-nezalezhnii-ukraini>); Кравченко В. Бой с тенью: советское прошлое в исторической памяти современного украинского общества // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 329–367; Рябчук М. Культура памяти и политика забвения (<http://www.strana-oz.ru/2007/1/kultura-pamyati-i-politika-zabveniia>).

и советско-ностальгическим. Речь идет, конечно, о магистральной тенденции, не исключаяющей отклонений, чередования активных фаз, спадов и периодов затишья. Выбор модели (инклюзивная/эксклюзивная/амбивалентная) диктовался текущей политической конъюнктурой и не всегда был четко осознанным результатом осмысленной стратегии. Региональные и локальные нарративы, как правило, были воплощениями, модуляциями двух основных. Четко оформленный национальный нарратив, разумеется, имелся не только у украинцев: вспомним хотя бы крымско-татарский или еврейский.

Амбивалентная модель функционировала именно как форма параллельного существования двух предыдущих моделей или же в форме «национализации» части советско-ностальгического нарратива (например, включения в него героев и событий «Великой Отечественной войны»).

Важной особенностью Украины является и то, что усилиями разных агентов исторической политики эти два нарратива вписались в определенные региональные измерения. *Национальный/националистический* преобладал в западных регионах Украины, преимущественно в Галиции³⁸. *Советско-ностальгический* – в восточных регионах³⁹ и в Крыму. Причем первый больше вписывался в эксклюзивную модель, а второй – в инклюзивную.

В Центральной и частично Юго-Восточной Украине⁴⁰ преобладала смешанная модель с субрегиональными и временными колебаниями то в пользу национального/националистического, то в сторону советско-ностальгического. После 2014 года здесь наблюдается интенсивное вытеснение советско-ностальгического и смешанного нарративов национальным/националистическим, расширение территории доминирования эксклюзивной модели национального/националистического нарратива за счет маргинализации или стирания других, прежде всего советско-ностальгического («декоммунизация»). Инклюзивная модель функционирует скорее в демонстрационном режиме, на уровне политических деклараций.

Разумеется, историческая политика в Украине не сводится исключительно к взаимодействию и противостоянию национальной/националистической и советско-ностальгической моделей. На обочинах этой магистрали пребывают региональные и локальные нарративы, иногда вписывающиеся в более общую схему, иногда выпадающие из нее. Там же пребывают и те национальные нарративы памяти, которые или противостоят «главным», или создают им «некоторые неудобства»: например, еврейский, польский, русинский, крымско-татарский, ромский (последний, похоже, находится еще в процессе формирования). Память о Холокосте вступает в конфликт и с национальным/националистическим, и с советско-ностальгическим, при этом данный нарратив, в свою очередь, до последнего времени функционировал в основном в рамках эксклюзивной модели.

История и память

Если попытаться обобщить разные подходы к природе взаимоотношений истории и памяти, описанных в литературе, можно свести их к следующим позициям: 1) история и память противопоставляются и даже рассматриваются как несовместимые явления; 2) история и память отождествляются; 3) история и память рассматриваются как взаимодействующие и взаимодополняющие формы понимания, интерпретации и репрезентации прошлого.

Первый и третий подходы как правило и преимущественно связаны с исследовательскими и аналитическими операциями, они больше характерны для сферы научной дея-

³⁸ Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области, частично Волынская, Ровненская, Закарпатская, Черновицкая области, в двух последних были сильны региональные нарративы памяти, не претендовавшие на общеукраинское значение.

³⁹ Харьковская, Донецкая, Луганская области.

⁴⁰ Киевская, Житомирская, Черниговская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Кировоградская, Винницкая, Хмельницкая, Николаевская, Херсонская, Одесская, Днепропетровская, Запорожская области.

тельности. Отождествление истории и памяти – действие более характерное для общественно-политических, публицистических, идеологических дискурсов. Наиболее радикально идею разделения-противопоставления истории и памяти сформулировал Пьер Нора: «Память и история. Мы отдаем себе отчет в том, что эти понятия весьма далеки от синонимичности, что они противостоят друг другу. Память – это факт жизнедеятельности ныне живущих сообществ, она сама по себе постоянно эволюционирует, она подчиняется диалектике запоминания и забывания, она не осознает происходящих с ней искажений, она зависима от самых разных видов присвоения и манипуляций, ей свойственны длительные периоды сна и внезапные пробуждения. История, с другой стороны, – это реконструкция того, чего уже нет, всегда противоречивая и неполная. Память – это явление современности, привязывающее нас к постоянно длящемуся настоящему времени. История – это репрезентация прошлого. Память в силу своей осязательной и магической природы принимает только те факты, которые ей подходят. Она произрастает из неясных, многоступенчатых, иногда чрезмерно общих и смутных, иногда слишком мелких деталей, имеющих символическое значение. Она подвержена всякого рода искажениям, переделкам, цензуре, прожектерству. История, будучи интеллектуальным, светским видом деятельности, обращается к анализу и критическому дискурсу»⁴¹.

Расхождение, «цивилизованный развод» истории и памяти, по мнению П. Нора, происходит с появлением «истории истории», иными словами профессиональной историографии второго уровня. История переходит от обслуживания памяти, от стремления (не обязательно осознанного) к ее наиболее полному описанию, заполнению лакун и трещин к критике и анализу. Происходит переход от истории-памяти к критической истории⁴². И здесь историческое описание фактически опровергает и отвергает право памяти на адекватное отображение прошлого, оно развенчивает мифы памяти и выстраивает прошлое в соответствии со строгими «законами» историчности, «объективности», научного анализа. История вытесняет память из коллективных репрезентаций прошлого.

Одновременно история подчиняет себе память, «захватывает» ее. Память получает шанс сохраниться или в неких кодифицированных (и признанных историей) следах, артефактах, местах памяти, или как часть исторического описания. Потребность в сотворении «мест памяти» (*les lieux de mémoire*) возникает с исчезновением «среды памяти» (*milieux de mémoire*), когда память истончается, уходит в небытие. Изучая места памяти, историки обращаются не столько к прошлому, тому, «как оно было», сколько к его репрезентациям, закодированным в памятниках, символах, дискурсах. Здесь П. Нора описывает взаимодействие и взаимопроникновение истории и памяти уже в эпоху архивов, «мест памяти» и профессиональной историографии.

Несмотря на некоторые риторические преувеличения, отмеченные многими комментаторами, П. Нора был едва ли не первым, кто четко артикулировал проблему отделения истории как профессионального историописания от памяти и новой формы их взаимопроникновения и взаимодействия в эпоху «ускорения истории», когда возникла тенденция к быстрому угасанию памяти.

Тему продолжил американский историк Патрик Хаттон, уделивший специальное внимание интеллектуальной истории взаимоотношений между профессиональной историографией и памятью. Исследуя прошлое через следы памяти, историки имеют дело не столько с прошлым как таковым, сколько с его образами. Память – это не только и не столько часть истории, сколько формы репрезентации прошлого, исследуемые историками⁴³.

⁴¹ Nora P. Between Memory and History // Nora P. Realms of Memory: Rethinking the French Past. Vol. 1. Conflicts and Division. New York: Columbia University Press, 1996. P. 3.

⁴² Nora P. Between Memory and History. P. 3–4.

⁴³ Hutton P. History as an Art of Memory. Hanover, NH: University Press of New England, 1993. P. 17–22.

Его коллега по историческому цеху Аллан Мегилл углубляет тему рассуждениями о взаимодействии памяти, традиции, историографии (или истории) и политики. Он предлагает рассматривать три вида историографии: *аффирмативную, дидактическую и аналитическую*⁴⁴.

Именно аффирмативная историография в первую очередь подвержена тенденции отождествлять историю и память. «Ориентированная на память историография, – пишет А. Мегилл, – есть особый случай более общей категории историографии, которую можно назвать *аффирмативной*, то есть *утверждающей*, потому что ее главная цель состоит в том, чтобы утвердить и превознести определенную традицию или группу, чью историю и опыт она изучает... Ориентированная на память аффирмативная историография, – продолжает он, – это разновидность „обыденного“ или „вульгарного“ понимания истории... Аффирмативная историография подчиняет прошлое тем проектам, которыми люди заняты в настоящем. У нее отсутствует критическая позиция по отношению к воспоминаниям, которые она отбирает, и к традиции, которую она поддерживает. В самом деле, она не только некритична по отношению к избранным воспоминаниям и традициям, но фактически имеет тенденцию к их мифологизации»⁴⁵.

Аффирмативная историография сознательно выполняет функцию консолидации и укрепления некоего сообщества – народа, нации, государства, политической или религиозной группы. Поскольку эта функция совпадает с подобными задачами коллективной памяти, брак истории и памяти здесь вполне легитимен.

Близко к аффирмативной располагается *дидактическая историография*, смысл существования которой отражен в давней формуле Цицерона *Historia magistra vitae est*. Здесь можно усмотреть некий сдвиг в сторону аналитической истории, поскольку опыт прошлого здесь все-таки подвергается критическому анализу, необходимому для извлечения уроков. В данном случае память тоже не отделяется от историографии.

И наконец, *аналитическая история/историография* отделяется от памяти и противопоставляется ей хотя бы потому, что память не может быть своим собственным критическим метаописанием⁴⁶, аналитическая же история – это критический, в том числе по отношению к памяти, текст.

При этом А. Мегилл не отрицает значения и важности памяти для истории, во-первых, потому, что без памяти невозможно ощущение времени, во-вторых, история обращается к фактам, наличие которых без работы памяти было бы невозможным.

Говоря о необходимости различать историю и память, Мегилл делает еще одно важное замечание, имеющее большую практическую ценность. Память нередко является конфликтной территорией. Это касается прежде всего конфликтов прошлого, которые актуализируются в настоящем. Воспоминания об этих конфликтах всегда актуализируются проблемами настоящего, и память одной конфликтующей стороны будет противоречить другой. Если историография отождествляет себя с памятью, она только усиливает этот конфликт. Во всех подобных случаях история должна быть критической, она должна дистанцироваться от памяти на расстояние, необходимое для анализа⁴⁷.

Эти рассуждения Мегилла весьма полезны для понимания роли исторической политики. Историческую политику можно описать либо как сознательное, умышленное смешение истории и памяти, как диктат аффирмативной историографии, либо как попытки «помирить» исто-

⁴⁴ В данном случае я ссылаюсь именно на Мегилла, однако вряд ли он является автором этой классификации. Подобные рассуждения можно услышать от любого опытного историка.

⁴⁵ Мегилл А. Историческая эпистемология. М.: Канон+, 2007. С. 98, 99. Здесь и далее даются ссылки на этот в целом качественный перевод. Желающим обратиться к тексту на языке оригинала: Megill A. Historical Knowledge, Historical Error. A Contemporary Guide to Practice. University of Chicago Press, 2007.

⁴⁶ Там же. С. 103–105.

⁴⁷ Там же. С. 111.

рию с памятью в рамках дидактической истории. В этой понятийной рамке можно достаточно уверенно выделить разные варианты исторической политики.

Например, можно предположить, что историческая политика с интенсивным использованием аффирмативной истории преобладает в обществах, где идеологический и культурный плюрализм находится на начальной стадии развития, где силен популизм и фасадная демократия, где наличествуют сильные традиции патриархально-патримониальных отношений, а национальная идентичность традиционно отождествляется преимущественно с этническими маркерами (язык, общая история, кровное родство). Дидактическая история будет подчинена аффирмативной, в то время как аналитическая история институционно интегрирована в первые две.

В обществах с более развитой демократией (демократические институты реально отображают интересы разных общественных групп, а не являются прикрытием реальной политики олигархии) и более развитой традицией политического плюрализма в исторической политике возможен баланс между аффирмативной и дидактической историей, при этом аналитическая история уже может быть отделена от них как в идеологическом, так и в эпистемологическом смысле, существовать достаточно независимо.

Наконец, идеальный вариант, по идее характерный для плюралистических обществ с развитой, устойчивой демократией, – это свободное сосуществование всех трех типов истории/историографии, где аффирмативная и дидактическая история выполняют свои функции, не претендуя на прерогативы аналитической истории, а она, в свою очередь, вольна в своих рефлексиях по поводу первых двух. Это идеальный вариант, потому что и в этих обществах предпринимаются достаточно успешные попытки навязывать всему обществу некую каноническую версию прошлого: например, через так называемые «мемориальные законы», официально устанавливающие рамки публичной трактовки прошлого.

Разумеется, описанные тут «чистые типы» – результат аналитической операции. В реальной жизни они имеют массу «примесей», возможны ситуативные диспропорции или сосуществование указанных форм в параллельных или пересекающихся идеологических пространствах – в зависимости от колебаний исторической политики.

Например, Украина, Россия и большинство стран постсоветского пространства (включая страны Балтии) вписываются в первую модель, однако при этом наблюдается нестойкая тенденция к самоопределению аналитической историографии, уменьшению ее зависимости от исторической политики.

Польшу и другие страны Центрально-Восточной Европы можно было бы охарактеризовать как пример разделения функций между аналитической, дидактической историей, с одной стороны, и аналитической историей, с другой. Это не исключает активного участия значительного количества профессиональных историков в формировании и реализации исторической политики. Та же Польша в последние годы дает интересный пример «похода историков во власть».

В странах «старой Европы» историческая политика периодически провоцирует конфликт между аналитической историей, с одной стороны, и аффирмативной и дидактической – с другой. «Спор историков» в Германии, вроде бы закончившийся в 1990-е, явно имеет тенденцию к продолжению, особенно когда проблемы исторической политики выходят за пределы национальных границ. Видимо, не случайно инициатива введения общеевропейского законодательства по поводу отрицания Холокоста исходила от представителей Германии. Во Франции историческая политика в вопросе геноцида армян 1915 года привела к резкому протесту профессиональных историков (уже упомянутое движение «Свободу истории!»), что является явным примером противостояния аналитической и аффирмативной моделей.

Приведенные здесь рассуждения, взгляды, модели и определения не претендуют на универсальность. Они необходимы для того, чтобы по возможности уберечь данное исследова-

ние и его восприятие/прочтение от эссенциализма, от соблазна полностью отождествить понятия с некими неизменными сущностями. Рассматриваемые далее явления, события и факты в своем разнообразии так или иначе неизбежно выходят за рамки приведенных выше определений, схем и моделей. И далее мы будем говорить не только и не столько о фактах, событиях и явлениях, сколько о способах их восприятия разными субъектами исторической политики. Иными словами, мы будем наблюдателями «второго порядка», то есть нас будет интересовать не только наблюдение за процессами, но и наблюдение за процессом наблюдения, в нашем поле зрения будут не только тексты, но и контексты – интеллектуальные, культурные, социальные, политические.

В связи с этим уместно будет обратиться к украинскому опыту освоения и усвоения понятий, описанных выше.

Украинское измерение

В 1997 году американский историк Алон Конфино достаточно желчно высказался по поводу бума *memory studies* в западных социальных науках. Он сетовал на то, что, во-первых, растущее количество исследований не обеспечивается качеством методологического, теоретического осмысления проблемы, во-вторых, выработался некий шаблон подхода к проблемам памяти, сводящийся к набору стереотипов, кочующих из дисциплины в дисциплину, из исследования в исследование. Центральной темой исследований в 1990-е, по его мнению, была «политика памяти», что создавало опасность редукции культуры к политике как объекту исследований. «Отдавая должное количеству, – писал он, – трудно избавиться от ощущения, что термин „память“ обесценивается от чрезмерного употребления, при этом исследования памяти явно страдают от недостатка четкости, в то же время становясь довольно предсказуемыми. Затертое утверждение о том, что прошлое конструируется не как факт, а как миф для обслуживания интересов определенного сообщества и сейчас может кому-то показаться достаточно радикальным, но оно не может (и не должно) притуплять взгляд историков... Истории памяти... недостает критической рефлексии по поводу методов и теории и равным образом систематизированной оценки проблем, подходов и объектов исследования»⁴⁸.

Рискну предположить, что на Украине в настоящий момент *memory studies* пребывают приблизительно в таком же состоянии, правда с той разницей, что слово «бум» здесь будет некоторым преувеличением, несмотря на наличие «обоймы» в два десятка авторов, регулярно обращающихся к этой теме. Слово «бум» скорее относится к сфере публичной политики.

Если в общественно-политическом дискурсе вопросы исторической памяти возникли еще в период перестройки – в контексте ликвидации «белых пятен» истории или «возвращения к исторической правде», то их научное осмысление несколько затянулось как из-за естественных причин (для рефлексий нужно время), так и вследствие долгой интеллектуальной изоляции украинской гуманитаристики от мировой. Проблемы коллективной/исторической памяти на Украине стали предметом критической рефлексии и научного осмысления совсем недавно. Первые спорадические попытки, как правило связанные с попыткой выяснить или объяснить политический или социальный подтекст событий, явлений и практик, связанных с коллективной памятью, приходятся на конец 1990-х – начало 2000-х годов⁴⁹. Рост интереса к проблеме ожидаемо совпал с акселерацией исторической политики во времена В. Ющенко. Именно тогда словосочетание «историческая память» прочно вошло не только в общественно-политический лексикон и даже нормативные документы, но и в язык научных исследований. Особую

⁴⁸ Confino A. Collective Memory and Cultural History: Problems of Method // American Historical Review. December 1997. P. 1386–1403.

⁴⁹ См., например: Грабович Г. Україна: підсумки століття // Критика. 1999. № 11; Рябчук М. Потьомкінський ювілей, або ще раз про амністію, амнезію та «спадкоємність» посткомуністичної влади в Україні // Сучасність. 2004. № 3.

роль в этом сыграла масштабная государственная кампания по формированию коллективной памяти и голоде 1932–1933 годов. Достаточно сказать, что центральный проект этой кампании назывался «Национальная книга памяти жертв Голодомора».

К концу 2000-х на Украине сформировался достаточно стойкий интерес к проблемам исторической памяти. Он был связан, с одной стороны, с политической конъюнктурой, с другой – с быстрорастущим общественным интересом, опять-таки подогреваемым политиками, раскусившими возможности манипуляций с памятью и мобилизационные ресурсы исторической политики.

Определенную роль сыграло и то обстоятельство, что украинские общественные и гуманитарные науки постепенно входили в мировое интеллектуальное пространство, где *memory studies* не только утвердились как уважаемая область исследований, но и уже имели серьезные наработки концептуального характера. Стали появляться тематические выпуски научных журналов⁵⁰, обзорные аналитические статьи⁵¹, аналитические записки в государственных органах⁵², диссертации⁵³, тематические конференции⁵⁴ и даже объемные монографии⁵⁵ и тематические сборники с привлечением зарубежных специалистов⁵⁶, в которых прямо или косвенно рассматриваются разные аспекты функционирования исторической памяти. Украинские исследователи включились в международные проекты, где проблемы исторической памяти занимают видное место⁵⁷.

В 2010–2014 годах в Украинском институте национальной памяти (УИНП) и некоторых академических институтах начала складываться группа ученых, проявлявших стойкий интерес к теоретическим и методологическим разработкам в сфере *memory studies*. В УИНП был составлен словарь ключевых терминов и понятий⁵⁸, издана объемная библиография исследований по теме памяти⁵⁹, здесь же был начат выпуск серии «Национальная и историческая память», в 2011–2014 годах вышло десять выпусков этого сборника.

⁵⁰ Україна модерна (Пам'ять як поле змагань). Ч. 15 (4). Київ, 2009; Схід – Захід: Історико-культурологічний збірник. Вип. 13–14: Спец. вид.: Історична пам'ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. Харків, 2009.

⁵¹ Зашишляк Л. О. Історична пам'ять та історіографія як дослідницьке поле для інтелектуальної історії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2006–2007. № 15. С. 855–862; Зерний Ю. О. Як суспільства пам'ятають: властивості та механізми формування історичної пам'яті // Стратегічні пріоритети. 2008. № 4 (9). С. 35–43.

⁵² Симоненко І. «Концептуальні засади державної політики пам'яті». Аналітична записка (<http://www.niss.gov.ua/articles/269/>).

⁵³ Зерний Ю. О. Державна політика пам'яті як чинник утвердження української національної ідентичності: Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.05. НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. К., 2009; Коньшина Г. Є. Трансформація соціальної пам'яті в інформаційному суспільстві: Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03. Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Х., 2008; і др.

⁵⁴ Зерний Ю. О. (ред.). Історична пам'ять як поле змагань за ідентичність. Матеріали «круглого столу» 22 квітня 2008 р. К.: НІСД, 2008; Історична конференція «Пам'ять як поле змагань у польсько-російсько-українському трикутнику» (<https://ua.boell.org/uk/2010/02/06/istorichna-konferenciya-pamyat-yak-pole-zmagan-u-polsko-rosiysko-ukrayinskomu-trikutniku>); Семінар «Політика пам'яті та символічний простір міста: приклади Харкова і Львова» (<http://www.lvivcenter.org/uk/conferences/urban-seminars/?newsid=1210>).

⁵⁵ Нагорна Л. П. Історична пам'ять: теорії, дискурси, рефлексії. К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012; Грищенко О. Пам'ять місцевого виробництва. Трансформація символічного простору та історичної пам'яті в малих містах України. К.: К. І. С., 2014; Киридон А. Гетеротопії пам'яті. Теоретико-методологічні проблеми студій пам'яті. К.: Ніка-Центр, 2016; Гайдай О. Кам'яний гість. Ленін у Центральній Україні. К.: LAURUS, 2016.

⁵⁶ Шаповал Ю. (ред.). Культура історичної пам'яті: європейський та історичний досвід. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН, 2013.

⁵⁷ Упомянем наиболее масштабный из них: Регіон, нація та інше: міжкультурне й інтердисциплінарне переосмислення України (<http://www.lvivcenter.org/uk/researchprojects/stgallenproject/>).

⁵⁸ Національна та історична пам'ять: словник ключових термінів / Кер. авт. кол. А. М. Киридон. К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2013.

⁵⁹ Студії пам'яті в Україні. (Історіографічний дискурс. Бібліографічний показник) / Передмова, вступ. ст., заг. ред. А. Киридон. К.: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013.

Впрочем, как уже упоминалось, нынешнее состояние исследований памяти на Украине напоминает ситуацию в этой же сфере в западной науке конца 1990-х. Украинская исследовательница Алла Киридон среди основных проблем исследований назвала их малочисленность (и добавим – спорадичность), отсутствие междисциплинарных связей и дискуссий и в то же время – некритическое использование терминологии, позаимствованной у других дисциплин, зависимость от переводной литературы (добавим – в особенности работ теоретико-методологического характера⁶⁰), избыток эмпиризма, недостаточный уровень анализа⁶¹.

Автор не упомянула еще одной серьезной проблемы, из-за которой ей лично пришлось поменять место работы. Исследования памяти на Украине пребывают под серьезным давлением политической конъюнктуры, это сказывается как на содержании работ, так и на институциональном развитии. Реорганизация Украинского института национальной памяти летом 2014 года и «обратное перепрофилирование» его в орган исполнительной власти практически ликвидировали академическую составляющую деятельности этой институции (подробнее см. раздел II, главу 1). Увеличивается разрыв между аффирмативно-дидактическим и аналитическим подходами.

Многие работы, посвященные исторической памяти, претендующие на аналитический статус, своим содержанием относятся прежде всего к аффирмативной и дидактической историографии: они актуализируются текущими политическими заданиями или культуртрегерским энтузиазмом. Авторы со всей серьезностью вписывают свои рассуждения о природе исторической политики (в основном называя ее «политикой памяти») в необходимость помогать «строительству нации», формированию национального самосознания, идентичности и т. д.⁶²

Во многих случаях прочтение «западных авторитетов» оборачивается некритической трансляцией идей, возникших в радикально иных культурных, политических и познавательных контекстах. В результате случаются удивительные гибриды, когда мыслителей постмодерна представляют как пропагандистов национальной идеи, а правоверные позитивисты радуют читателя ссылками на авторов, давно признавших историю не более чем текстом, транслирующим господствующие дискурсы.

Нынешняя общественно-политическая ситуация, связанная с войной на востоке страны, аннексией Крыма Россией и необходимостью противостояния в информационно-психологической войне, только усиливает тенденцию к актуализации исследований памяти прежде всего в рамках аффирмативной и дидактической истории (о политологах мы умалчиваем) и сужает пространство взвешенного академического дискурса: стоит обратить внимание на то обстоятельство, что формулировка темы двух из трех упомянутых выше «довоенных» научных конференций – «память как поле борьбы», а название одного из интернет-сайтов, претендующих на просветительскую миссию, – «Исторический фронт»⁶³.

⁶⁰ В публикациях на тему памяти сложился своего рода шаблон: автор перечисляет когорту имен западных исследователей, после чего текст обильно снабжается ссылками или на русский перевод работ этих исследований, или на работы российских коллег. Не менее распространенной является практика ритуального упоминания «больших» имен без какой-либо существенной дискуссии по поводу упомянутых идей и понятий.

⁶¹ Киридон А. Студії пам'яті в Україні: основні тенденції становлення // Україна-Європа – Світ: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини, 2014. Вип. 14. С. 271

⁶² См., например: Масненко В. В. Історична пам'ять як основа формування національної свідомості // Український історичний журнал. 2002. № 5. С. 49–62; Зерній Ю. О. Державна політика пам'яті в Україні: становлення та сучасний стан // Стратегічні пріоритети. 2008. № 3 (8). С. 41–53.

⁶³ См.: <http://likbez.org.ua/ua/>.

Глава 2. Контексты

О стереотипах «Западная Европа» «Восточная Европа» Постсоветское пространство

Эта глава посвящена описанию и анализу политических, культурных и социальных обще-европейских контекстов, которые имеют отношение к формированию исторической политики на Украине. Понимание этих контекстов позволит понять место Украины на европейской карте исторической политики, выяснить ее соответствие неким общим тенденциям и ее «национальные особенности». Выражение «обще-европейские контексты» не должно вводить в заблуждение – «общими» они становились только тогда, когда имели схожую динамику и направленность (например, идеологическую) или же когда они становились продуктом целенаправленных действий то ли согласившихся на общую политику национальных правительств, то ли транснациональных и наднациональных европейских государственных и общественных институтов. Разумеется, общность основывается и на неких разделяемых всеми базовых ценностях.

Стоит учесть и то обстоятельство, что начиная с 1945 года Европа трижды пребывала в состоянии «после»: послевоенном (где память о войне и ее наследие были главной темой исторической политики), после краха коммунизма (то есть все 1990-е и начало 2000-х), когда заботы о «послевоенном» обустройстве Европы дополнились разбирательствами с коммунистическим прошлым и его наследием (посткоммунистический период), и после «воссоединения» Европы в 2004–2007 годах, когда история и память, рассматривавшиеся промоутерами исторической политики как интеграционные инструменты, вдруг стали давать сбой именно в этом качестве. Возможно, сейчас, после краха Ялтинско-Потсдамской системы, масштабного миграционного кризиса и катастрофически нарастающего политического кризиса Евросоюза, мы стоим на пороге нового «после», но движение к нему еще не завершилось.

О стереотипах

Среди множества стереотипов, с которыми до сих пор приходится сталкиваться историку, интересующемуся прошлым и настоящим Европы, один из наиболее распространенных и живучих сводится приблизительно к такой формуле: общества «Западной Европы» благополучно прошли процесс становления национальных историй и национального исторического самосознания. Это окончательно сформировавшиеся нации, для которых прошлое находится там, где ему положено быть: в учебниках, исторических романах, произведениях искусства, музеях и т. д. Прошрое, кодифицированное в национальных нарративах, не отягощает настоящее, «старые» европейские нации «не больны прошлым».

В то же время общества и нации, имеющие проблемы с самоутверждением, определением национальной идентичности, активно тяготеют к прошлому, их исторические нарративы в силу разных причин пребывают в состоянии постоянного пересмотра, история и память являются предметом постоянных политико-идеологических манипуляций и вмешательств, их активно используют общественные группы, борющиеся за власть. Крылатое выражение У. Черчилля о Балканах, производящих истории больше, чем они могут переварить, нередко распространяют на весь регион, именуемый «Восточной Европой»⁶⁴.

⁶⁴ Разумеется, существует множество версий «Восточной Европы». После Второй мировой войны под эту рубрику по умолчанию попала вся территория к востоку от «железного занавеса» до западных границ Советского Союза, контролируемая

Этот частный стереотип⁶⁵ хорошо вписывается в знаменитую дихотомию «Запад – Восток», являющуюся едва ли не самой долгоиграющей пластинкой, до сих пор во многом определяющей способ мышления интеллектуалов, политиков, исследователей, коллективное мировосприятие культурных, политических, профессиональных, религиозных и других сообществ. Общества и страны, расположившиеся к востоку от линии, прочерченной почти 70 лет назад в знаменитой Фултонской речи У. Черчилля и, казалось бы, стертой «воссоединением» Европы в 1990-е – начале 2000-х, по-прежнему «больны историей» (заметим, что последние 20–25 лет дают весомые основания для такого вывода). Тем временем «Западная Европа» вроде как демонстрирует завидное здоровье.

Этот взгляд также можно считать эффектом деления наций и национализмов на «политические/гражданские», или «исторические», и «этнические/культурные», или же «неисторические». Бывшие «неисторические» (не имевшие государственности) нации стали «историческими» не только в гегелевском (обрели государственность), но и в гоголевском смысле: они хронически «попадают в историю», поскольку по-прежнему отягощены разбирательствами с прошлым, все еще крайне важным для самоопределения, в то время как солидные, традиционно «исторические» нации, вовремя разобравшиеся с этим прошлым, якобы оставили историю историкам.

Эта достаточно комфортная схема вполне приемлема как некий пояснительный шаблон, необходимый для первого приближения к теме «история и политика», она хорошо вписывается в устойчивые культурные и пространственные стереотипы, обслуживающие как политические дискурсы, так и бытовое сознание, нередко сводящее большие темы к «политически некорректным» анекдотам о «польском водопроводчике» в Лондоне или молдавском строителе-шабашнике на Украине.

Тезис о некоей одержимости прошлым и чрезмерной зависимости коллективной идентичности от его интерпретаций в упомянутом выше историческом регионе имеет фактические основания, он подтверждается историей как «долгого XIX», так и «короткого XX» столетия. Это взгляд, определяемый культурным стереотипом, определившим политическую карту мира, созданную еще в XIX столетии.

Тем не менее по мере укрупнения масштаба и при переходе от исторической и культурно-политической географии к топографии упомянутая схема начинает рушиться. Выясняется, что если не одержимость прошлым, то постоянный политически мотивированный интерес к нему характерен и для «продвинутых» сообществ «Западной Европы». Прежде всего, отметим культурное разнообразие самого региона, определяющее разные степени отягощенности прошлым. Стоит поинтересоваться «вопросами истории» в географически самых западных европейских странах – Испании и Португалии. В первом случае можно задать вопрос, как

коммунистическими режимами. Разумеется, в умах и представлениях интеллектуалов-нонконформистов жила и Центральная Европа, «похищенная» коммунистами с молчаливого согласия «Запада» (М. Кундера), и Балканы (или Юго-Восточная Европа) с их историко-культурной спецификой, Балтия (Эстония, Латвия, Литва), страны которой были поглощены Советским Союзом во время Второй мировой войны. Работы, посвященные истории формирования и концептуализации пространственных, культурных и политических представлений о «Восточной Европе», уже стали своего рода классикой, обязательным чтением для любого студента, интересующегося этим регионом. Для приличия упомянем два «базовых» текста: *Wolff L. Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of Enlightenment*. Stanford: Stanford University Press, 1994; *Todorova M. Imagining the Balkans*. New York: Oxford University Press, 1997. После распада коммунистической системы понятие «Восточная Европа» стало более размытым, «центральноевропейская четверка» (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) приложила немалые усилия, чтобы избавиться от непривлекательного ярлыка (прибегая даже к политическим проектам вроде «Вышеградской группы»), и повесила на витрину другую неоновую вывеску – «Центральная Европа», уйдя таким образом с воображаемых окраин, Латвия, Литва и Эстония воссоздали уютное пространство «Балтии», а Юго-Восточная Европа в лице Румынии, Болгарии и Хорватии обзавелась «настоящей» европейской идентичностью, став «равноправной» частью Евросоюза и оставив малопривлекательный «балканский» маркер тем соседям, которые претендуют на место в приемной ЕС. В результате в первое десятилетие 2000-х воображаемая «Восточная Европа» разместилась на территории Беларуси, Украины и Молдовы.

⁶⁵ См. подробное описание этой схемы здесь: *Schöpflin G. The politics of national identities // National History and Identity. Studia Fennica Ethnologica*. 1999. № 6. P. 48–61.

интерпретируется прошлое в контексте единства страны, как «вспоминается» там гражданская война 1930-х или период правления Франко. Во втором – как обсуждается колониальное прошлое или же период правления Салазара⁶⁶. О знаменитом «споре историков» в Германии мы уже упоминали. Дискуссии о колониальном прошлом Франции также могут послужить классическим примером взаимодействия истории и политики⁶⁷.

Даже поверхностного взгляда на послевоенную историю «Западной Европы», то есть некоей общности, противопоставляемой Европе «восточной», достаточно, чтобы обнаружить постоянное взаимодействие истории и политики, непрерывную инструментализацию истории в политических интересах. Вряд ли можно себе представить масштабное политическое, идеологическое, военное противостояние двух систем – капитализма и коммунизма (и холодную войну) – без постоянного обращения политиков и государственных мужей к историческим сюжетам, без внедрения этих сюжетов в политический дискурс и практики – как в коммунистической «Восточной Европе», так и в капиталистической «Западной».

Точно так же трудно вообразить послевоенную Европу без постоянного обращения к опыту Второй мировой войны, его переоценке и «переформатированию» в зависимости от геополитической конъюнктуры – то, что Тони Джадт называл «длинной тенью Второй мировой»⁶⁸. Десять лет назад Р. Либоу писал: «Более полувека минуло с окончания Второй мировой войны, и почти каждой стране пришлось пережить разного рода мучительные дебаты о ее роли (ролях) в этом конфликте и ответственности за злодеяния, совершенные то ли ее правительствами, то ли ее гражданами. В одних странах дискуссии не заставили себя ждать, в других прошли десятилетия, прежде чем они начались»⁶⁹.

Поначалу актуальность и содержание этих дискуссий определялись послевоенной политической конъюнктурой, позициями и политическими стратегиями победителей и побежденных, геополитической ситуацией и атмосферой холодной войны. В одних случаях (нации-победители) происходил ренессанс и расширение национальных нарративов, связанных с героическим мифом (Франция, Великобритания), в других (нации-побежденные) преобладал нарратив жертв и преступлений (Германия, Италия). В обоих случаях история была напрямую включена в процесс «перезагрузки» национальной идентичности⁷⁰. Не менее важной темой была переоценка и формулирование обновленных (или переизобретенных) мифов – как национальных, так и общеевропейских⁷¹. Последние полстолетия наблюдается активное продвижение общеевропейской идентичности именно через историческую политику.

Если же обратиться к событиям последних 20–30 лет (превращение памяти о Холокосте в общеевропейский феномен, «спор историков» в Германии, так и не закончившийся поныне, дискуссии о наследии коммунизма, дебаты об уравнивании нацизма и сталинизма, возникновение общеевропейских структур, пытающихся продвигать общеевропейскую историческую

⁶⁶ См., например, статьи, посвященные осмыслению наследия авторитарных режимов в этих странах, в: *Troebst S. (ed.). Postdiktatorische Geschichtskulturen in Europa. Bestandsaufnahme und Forschungsperspektiven.* Göttingen: Wallstein Verlag, 2010.

⁶⁷ См., например: *Jansen J. Politics of Remembrance, Colonialism and the Algerian War of Independence in France* // Pakier M., Stråth B. (eds.). *A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance.* Berghahn Books, 2010. P. 275–293.

⁶⁸ *Judt T. Postwar: A History of Europe Since 1945.* Penguin Books, 2005. По версии Т. Джадта, вся история после 1945-го и до падения коммунизма была «послевоенной».

⁶⁹ *Lebow R. N., Kansteiner W., Fogu C. (eds.). The Politics of Memory in Postwar Europe.* Durham; London: Duke University Press, 2006. P. 21.

⁷⁰ См. интересный обзор развития европейской историографии: *Berger S. The Power of National Pasts: Writing National History in Nineteenth- and Twentieth-Century Europe* // Berger S. (ed.). *Writing the Nation. A Global Perspective.* Palgrave Macmillan, 2007. P. 30–62 (об историографии после Второй мировой войны: P. 47–56).

⁷¹ *Ifversen J. Myth in the Writing of European History* // Berger S., Lorenz C. (eds.). *Nationalizing the Past. Historians as Nation Builders in Modern Europe.* Palgrave Macmillan, 2010. P. 452–479. Стоит обратить внимание на разделение общеевропейской истории на «темную» довоенную и военную (Европа как эпицентр двух мировых войн, этнических чисток, геноцидов), послевоенную (после 1945-го, в некоторых случаях – после 1989-го) и «светлую» послевоенную (или пост-1989) (Европа благосостояния, стабильности, социального государства, Европа общих человеческих ценностей).

политику), можно сформулировать такой тезис: ни в более отдаленном, ни в недавнем прошлом, ни в настоящем нет существенной разницы в подверженности различных обществ вопросам интерпретации и репрезентации прошлого то ли в форме памяти, то ли в форме истории, в желании различных общественных групп использовать прошлое для нужд настоящего, в логике и динамике использования истории и памяти для политических целей.

И тут не имеет особого значения то, как эти нужды формулируются: идет ли речь о создании общей «европейской идентичности» в рамках идеи «объединенной Европы», или о «восстановлении прав» того или иного сообщества как полноправной «европейской» нации, или же о самоутверждении «проснувшейся» или «возрождающейся» нации, или о выяснении некоей коллективной ответственности за исторические грехи. Общим является одно: прошлое, изложенное то ли в виде исторического мастер-нарратива, то ли в виде доминирующего нарратива культурной памяти, присутствует в настоящем, история полновесно присутствует в политическом и культурном пространствах.

Различия заключаются скорее в интенсивности переживания обществом проблем прошлого, степени влияния интерпретаций и репрезентаций истории на текущую ситуацию, возможностях доступа к средствам реализации исторической политики – тут уже в дело вступают такие факторы, как традиции, уровень развития гражданского общества и демократических институтов, политическая и правовая культура и т. п., то есть некие исторически сложившиеся условия и контексты, в рамках которых происходит обращение к проблемам исторической памяти и осуществляется историческая политика.

К различиям можно отнести и вектор «озабоченности прошлым». В «Западной Европе» более заметной тенденцией была и остается инструментализация прошлого в интересах построения общеевропейской идентичности, преодоления ксенофобии, расизма, этнической, культурной, религиозной нетерпимости. Этическая составляющая в проработке прошлого постепенно смещалась к выяснению своей ответственности за деяния прошлого.

В «Восточной Европе» использование прошлого в интересах настоящего имело другую направленность: восстановление «исторической справедливости», реставрация и укрепление национальной идентичности («пострадавшей» в период коммунизма), возвращение в «европейскую семью» в качестве самодостаточной культурной и политической единицы, поиск Другого, ответственного за беды и невзгоды прошлого.

Не исключим из наших рассуждений и то обстоятельство, что расширение «Западной Европы» на восток и создание «новой Европы» в 2000-е годы привели не только к «подтягиванию» политических, общественных и экономических институтов и практик посткоммунистических стран к уровню общих правил Евросоюза (последний был синонимом «Западной Европы»), но и к обратному влиянию: «обеспокоенность прошлым» как культурный стандарт, как неотъемлемая часть социальной жизни была транслирована в «старую Европу», что привело к столкновению в чем-то сходных, в чем-то разных культур памяти и серьезным качественным сдвигам в исторической политике.

В результате «мучительные дискуссии» по поводу прошлого не только не закончились, но и периодически вспыхивают с новой силой – как в «новой» объединенной Европе⁷², так и по ее периметру. Создается впечатление, что «производство истории», где роль последней нередко играет историческая память, в количествах, превышающих потребности, становится транснациональной тенденцией объединенной «новой Европы».

⁷² Если речь идет о профессиональной историографии, стоит обратить внимание на недавнюю публикацию американского историка, выходца из Восточной Европы, И. Деака, явно выпадающую за рамки ряда привычных представлений о коллаборационизме, военных преступлениях, этнических чистках, сопротивлении и возмездии. См.: *Deák I. Europe on Trial. The Story of Collaboration, Resistance, and Retribution during World War II.* Westview Press, 2015.

«Западная Европа»

Интеграционные процессы в Европе (стирание границ внутри Евросоюза, создание общеевропейских структур управления, единой финансовой системы, попытки внедрения общеевропейской Конституции и законодательства) сопровождались все более интенсивными усилиями по формированию единой «европейской» идентичности.

Осознание и реализация этой задачи происходили на фоне масштабных сдвигов на континенте: распад коммунистической системы, развал Советского Союза и Югославии, «цивилизованный развод» Чехии и Словакии, объединение Германии, война и этнические чистки на Балканах, расширение Евросоюза и создание «новой Европы», формально устраняющей деление на «Западную» и «Восточную».

Переформатирование геополитического и воображаемого «европейского» пространства происходило на фоне упомянутого становления и расширения идеологии объединенной Европы как мирного процветающего континента без внутренних границ – как политических, так и ментальных. Разумеется, важную роль в формировании идентичности «объединенной Европы» должна была сыграть некая «общая история» и общая коллективная/историческая память (в данном случае эти понятия не только тесно переплетались, но и нередко становились тождественными). Эта тема стала основной в исторической политике транснациональных европейских структур, она получила поддержку и со стороны национальных правительств «старой Европы».

Исследователи «общеевропейской истории» выделяют здесь следующие основные темы: во-первых, попытки создания неких транс- или наднациональных общеевропейских нарративов – как исторических описаний, так и мест памяти. Во-вторых, конструирование и внедрение «сквозных» тем, общих для большинства европейских наций⁷³. В-третьих, формирование наднациональных институций и структур, берущих на себя функции создания общеевропейских моделей и стратегий, представляющих общие ценностные и политические установки в отношении как к прошлому, так и к его репрезентациям в настоящем. Упомянем еще об одной «общеевропейской» тенденции: попытках регулировать интерпретации ряда проблем прошлого через законодательные акты.

Коротко рассмотрим эти сюжеты.

Создание общеевропейских исторических нарративов профессиональными историками берет начало еще в XIX столетии, с этого времени начинается традиция написания «общеевропейской» истории как набора национальных нарративов, как взаимодействия национальных акторов.

Возникновение (или новое переиздание) идеи объединенной Европы после Второй мировой войны породило политический спрос на историографические проекты, связанные уже с транснациональной общеевропейской историей, основанной на идее интеграции – вполне в духе «аффирмативной истории». Как правило, инициатором и спонсором таких проектов и, соответственно, главными агентами интеграционной исторической политики выступают наднациональные европейские структуры, реже – национальные организации (тут лидирует Германия). Как резонно заметила А. Ассман, формирование стойкой национальной и транснациональной памяти не происходит автоматически, лишь под влиянием публичных дискурсов или медиарепрезентаций. Оно требует политических решений, бюрократических институций, организационных сетей и соответствующего финансирования⁷⁴.

⁷³ См., например: *Sierp A. History, Memory, and Trans-European Identity Unifying Divisions*. Routledge, 2014.

⁷⁴ *Assmann A. The Holocaust – A Global Memory? Extensions and Limits of a New Community // Assmann A., Conrad S. (eds.). Memory in a Global Age. Discourses, Practices and Trajectories*. Palgrave Macmillan, 2010. P. 103.

В 1952 году Совет Европы предложил группе историков из разных стран обсудить проект создания общеевропейской истории, продвигающей и обосновывающей идею европейского единства. Уже тогда историки сошлись на том, что этот проект будет невозможен без включения в него таких регионов, как Пиренейский полуостров и Восточная Европа⁷⁵.

Все последующие инициативы по созданию «общеевропейских» нарративов, нередко поощряемые европейскими транснациональными институтами, сталкивались с целым рядом препятствий как чисто технического, так и культурного и политического характера. Прежде всего, главным препятствием здесь является наличие традиционных национальных мастер-нарративов во всех странах Европы, которые по определению противоречат любым попыткам предложить или навязать общеевропейский нарратив (он, в свою очередь, нередко превращается лишь в сумму национальных). Более того, попытки внедрения наднациональных, «общих» историй, как правило, вызывали своего рода защитную реакцию: усиление интереса к национальным историям или же оживление «автономистских» национальных нарративов (Каталония, Шотландия, Фландрия)⁷⁶, призванных обосновать свой собственный вариант «европейскости», отвечающий интересам наций, не имеющих собственной государственности.

Исследователи обращают внимание и на такие препоны, как трудности с общим пониманием того, что, собственно, является «Европой» как универсальным основанием⁷⁷ (правда, в последнее десятилетие четко просматривалась стратегия видения Европы как мирного, стабильного континента), сложности с определением общих, «объединяющих» тем, неясности с преодолением евроцентристского подхода к европейскому прошлому (в свете постколониальной критики евроцентризма и апологии «цивилизаторской» роли Европы), наконец, проблемы с определением тех самых «общеевропейских» ценностей, способных обеспечить аффирмативный и дидактический компоненты такой истории⁷⁸.

Дидактическая (в прямом смысле этого слова) история тоже может служить примером перечисленных выше сложностей. В 1950-е годы началась деятельность двусторонних франко-германской, немецко-польской и немецко-израильской комиссий, с перерывами длившаяся десятилетиями, но без особого прогресса: хотя некие общие позиции представителей Германии и Франции (по поводу причин Первой мировой войны) были изложены в немецко-французском Соглашении по спорным проблемам европейской истории и приняты еще в 1951 году, до окончательного «примирения» в виде совместного учебника оставалась дистанция почти в 60 лет. Рекомендации немецко-израильской комиссии были обнародованы в 1985-м⁷⁹, однако в 2010 году была создана новая комиссия. Согласованные рекомендации польско-немецкой комиссии появились в 1972 году, об их реальной имплементации в то время можно было разве что поговорить – вплоть до 2000-х, когда для этого появились реальные возможности.

В начале 1990-х была предпринята попытка создать некий общеевропейский учебник (*European Schoolbook*)⁸⁰, не имевшая успеха.

Деятельность созданного в 1951 году в Брауншвейге Международного института учебников (современное название – Международный институт исследований учебников имени Георга Эккерта) изначально имела целью преодоление конфликтогенности национальных историй,

⁷⁵ Berger S., Conrad C. *The Past as History. National Identity and Historical Consciousness in Modern Europe*. Palgrave Macmillan, 2015. P. 344.

⁷⁶ Ibid. P. 341–342.

⁷⁷ Jarausch K. H., Lindenberger T. *Contours of a Critical History of Contemporary Europe: A Transnational Agenda* // Jarausch K. H., Lindenberger T., Ramsbrock A. (eds.). *Conflicted Memories. Europeanizing Contemporary Histories*. Berghahn Books, 2007. P. 7.

⁷⁸ Ibid. P. 7–8.

⁷⁹ Korostelina K. *History Education in the Formation of Social Identity, Towards a Culture of Peace*. Palgrave Macmillan, 2013. P. 7.

⁸⁰ Jarausch K. H., Lindenberger T. *Op. cit.* P. 6.

изложенных в школьных программах и учебниках истории, под лозунгом «Примирение и взаимопонимание». После 1989 года у института прибавилось работы в «Восточной Европе», поскольку «новосозданные государства, особенно в Юго-Восточной Европе, поменяли одни предубеждения на другие, основанные на этнических и национальных частностях, характерной чертой которых была националистическая интерпретация истории»⁸¹. В 2000-е годы в этом институте появляются проекты, связанные с «европейской идентичностью». Самый новый проект, начавшийся в 2016 году, так и называется: «Европейская идентичность». Его цель: выявление в учебниках по истории и географии дискурсивных форм, позволяющих формировать «новую гибкую современную европейскую идентичность»⁸².

В 1992–1993 годах под эгидой Совета Европы была создана Европейская ассоциация преподавателей истории (*EUROCLIO*)⁸³, поначалу объединившая ассоциации учителей одиннадцати западноевропейских и трех восточноевропейских стран. Основная направленность этой негосударственной организации, получающей финансирование и политическую поддержку от транснациональных европейских структур, – преодоление крайностей национальных нарративов в преподавании истории в Восточной Европе. Преобладание представителей «Западной Европы» среди учредителей первоначально предполагало трансляцию «правильных» практик и ценностей в те регионы, где возвращение к классическим национальным нарративам угрожало ростом ксенофобии, этнической и культурной нетерпимости. Прямо это не декларировалось, но содержание деятельности ассоциации указывает именно на такие задачи.

Разумеется, ассоциация не осталась в стороне и от «интеграционных» проектов, целью которых было «формирование европейской идентичности, основанной на общих ценностях, истории и культурном разнообразии»⁸⁴. Название одного из ныне действующих проектов «Преподавание истории „Европы“ для усиления единства ЕС», посвященного анализу истории евроинтеграции в школьных курсах государств – членов ЕС, говорит само за себя⁸⁵.

Стоит обратить внимание на то, что именно после расширения Евросоюза в 2004–2007 годах в программу «Европа для граждан», финансируемую Европейской комиссией, был добавлен компонент под названием «Активная память»⁸⁶, цель которой пояснялась так: «поддержка действий, дискуссий и размышлений на тему европейской гражданственности и демократии, общих ценностей, общей истории и культуры... сближения Европы с ее гражданами через продвижение европейских ценностей и достижений с одновременным сохранением памяти о ее прошлом»⁸⁷. Программа финансировала проекты негосударственных организаций.

В 2007–2013 годах было поддержано 322 проекта на общую сумму 13 949 985 евро (с дополнительным финансированием – 14 203 000), из них 178 в странах Западной Европы (включая Италию, Испанию и Грецию) – здесь доминировала тема преступлений нацизма, Холокоста и памяти о Второй мировой войне; и 144 в Восточной Европе (включая Балканы и Балтию)⁸⁸ – здесь преобладали сюжеты о «преступлениях тоталитарного режима» – нацистского и коммунистического.

⁸¹ Fuchs E., Sammler S. Textbooks between tradition and innovation. A journey through the history of Georg Eckert Institute. P. 10 (http://www.gei.de/fileadmin/gei.de/pdf/institut/Textbooks_between_innovation_and_tradition.pdf).

⁸² См.: <http://www.gei.de/en/departments/europe-narratives-images-spaces/europe-and-the-national-factor/europaeische-identitaet.html>.

⁸³ Сайт организации: <http://euroclio.eu/>.

⁸⁴ Так обозначалась одна из целей проекта «Многогранная память», посвященного памяти о нацизме и сталинизме. См.: Multi-faceted Memory (<http://euroclio.eu/projects/multi-faceted-memory/>).

⁸⁵ См.: <http://euroclio.eu/projects/teaching-europe-enhance-eu-cohesion/>.

⁸⁶ Полное название: Active European Remembrance aiming at preserving the sites and archives associated with the deportations as well as the commemorating of victims of Nazism and Stalinism.

⁸⁷ Europe for Citizens Programme (http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/programme/action4_en.php).

⁸⁸ Подсчитано по: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2007/selections/documents/selection_action4_2007.pdf; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2008/selections/documents/sucproj_p4.pdf; <http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/>

В апреле 2014 года программа была продлена до 2020 года, в ней сохранилось два компонента (вместо четырех), один из них – «Европейская память» – был сосредоточен на «Европе как мирном проекте». Как сообщалось, программа должна поддерживать инициативы, сосредоточенные на выяснении причин появления «тоталитарных режимов, омрачивших современную историю Европы», и проекты, «освещающие другие решающие и отправные моменты и рассматривающие различные исторические перспективы. Память об уроках прошлого является предпосылкой для светлого будущего»⁸⁹.

В качестве примера попытки создания общеевропейского «пространства памяти» можно упомянуть грандиозный проект «Дом европейской истории». Идею создания музея высказал в 2007 году новоизбранный президент Европарламента Ганс-Герт Пёттеринг (Hans-Gert Pöttering). По его мнению, Дом европейской истории должен был стать местом изучения истории и будущего развития «концепции европейской идеи»⁹⁰. Перипетии создания концепции музея повторяют список препятствий и противоречий, возникавших при попытке сформировать общеевропейский исторический нарратив. К ним добавились чисто технические трудности. Например, экспозиции, согласно правилам Евросоюза, должны быть представлены на двадцати четырех языках стран – членов ЕС. Проект выглядит весьма затратным – только на его старт потребовалось 56 млн евро.

Международная команда экспертов решила преодолеть препятствия идеологического и методологического характера, обратившись к принципу «единство через разнообразие». На официальном сайте проекта музей обозначен как место дискуссий об истории Европы во «всей ее широте и разнообразии», а история континента представляется в «транснациональной перспективе»⁹¹. Главными темами постоянной экспозиции предложены история Европы в XX столетии и история европейской интеграции⁹². Официальное открытие музея состоялось в мае 2017 года⁹³.

Обратимся к наиболее известному примеру «объединительной» стратегии в исторической политике – канонической версии коллективной памяти о Холокосте. Здесь четко прослеживаются все основные практики, связанные с транснациональным нарративом памяти: во-первых, формирование транснационального нарратива памяти/истории, во-вторых, определение «сквозной» темы, сшивающей разные национальные нарративы, в-третьих, создание транснациональных институций, призванных внедрять упомянутый нарратив в жизнь, в-четвертых, регулирование интерпретаций прошлого через мемориальные законы и юридические практики. Канонизированный исторический нарратив о Холокосте можно считать классическим примером сочетания аффирмативной и дидактической истории⁹⁴, а связанную с ним практику, в том числе международную, – примером транснациональной исторической политики.

Процесс превращения Холокоста в «глобальную икону» или универсальную транснациональную форму коллективной/исторической памяти продолжался почти сорок лет, с 1960-х годов⁹⁵. Основными промоутерами репрезентаций Холокоста как морально и политически

[funding/2009/selection/documents/action_4_list_selected_projects.pdf](http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm); http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/selection/docs/citizen_action4_selection_2010.pdf; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2011/selection/selection_action4_en.php; http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/selection/documents/20120905_list_result.pdf; <http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/selection/documents/action4/rem-selected-2013.pdf>.

⁸⁹ См.: http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm.

⁹⁰ Vovk van Gaal T., Dupont C. The House of European History. 2012. P. 44 (<http://www.ep.liu.se/ecp/083/008/ecp12083008.pdf>).

⁹¹ См.: <http://www.europarl.europa.eu/visiting/en/visits/historyhouse.html>.

⁹² Там же.

⁹³ EU opens House of European history in Brussels (<http://www.bbc.com/news/world-europe-39804142>).

⁹⁴ Сам центральный лозунг данного нарратива – «Никогда снова!» (Never again!) – указывает на это.

⁹⁵ См. дискуссию на эту тему: Alexander J. C. Remembering the Holocaust. A Debate. Oxford University Press, 2009.

значимой формы коллективной памяти поначалу выступали Германия, Израиль и США⁹⁶. В 1990-е трансформация коллективной памяти о Холокосте и сопутствующего дидактического исторического нарратива в некую каноническую версию активизировалась в связи с войной на Балканах и этническими чистками в этом регионе (Косово), а также в связи с поиском опорного символа, обеспечивающего единство «европейской идентичности». Унифицированная, кодифицированная и канонизированная коллективная/историческая память о Холокосте превратилась в транснациональное явление.

Можно достаточно уверенно утверждать, что существует общеевропейская историческая политика в области увековечения памяти о Холокосте, призванная сформировать наднациональное сообщество памяти. С 2005 года в календаре памятных дат Европейского союза 27 января (день освобождения узников лагеря смерти в Аушвице) обозначено как Международный день памяти жертв Холокоста, мемориальные комплексы национального уровня, посвященные Холокосту, есть в семнадцати европейских странах (включая Украину), из них одиннадцать – это специализированные музеи⁹⁷.

Холокост как форма общеевропейской коллективной/исторической памяти принят большинством европейских стран. В 2010 году Международный день памяти жертв Холокоста официально отмечался в восемнадцати странах Евросоюза, а в шести странах была своя особая дата памятования⁹⁸, связанная с каким-либо «своим» событием, вписывающимся в общеевропейскую картину. Тем не менее, когда речь заходит о степени восприятия Холокоста на уровне общества, нетрудно заметить ряд очевидных проблем. Даже в странах, стоявших у истоков репрезентации Холокоста как общеевропейского явления (Швеция и Великобритания), память о котором должна объединять европейцев, обнаруживаются серьезные пробелы в осведомленности об этом событии, в том числе среди учителей⁹⁹. Более того, попытки предложить (если не навязать) общий стандарт памятования Холокоста встречают отпор «на местах», сопровождаемый заявлениями о том, что опыт Холокоста в разных странах имеет свою специфику и, соответственно, память о нем тоже должна быть диверсифицирована¹⁰⁰.

Разумеется, реализация такого масштабного проекта была бы невозможна без международного сотрудничества на самом высоком уровне.

В 1998–1999 годах, как раз накануне финальной стадии подготовки к расширению ЕС, по инициативе премьер-министра Гьорана Перссона и при поддержке премьер-министра Великобритании Тони Блэра и президента США Билла Клинтона была создана Международная рабочая группа по международному сотрудничеству в области преподавания, изучения и увековечения Холокоста. К настоящему времени она трансформировалась в организацию¹⁰¹, объединяющую тридцать одну страну мира (как постоянных членов) и десять стран-наблюдателей, из этого общего количества тридцать три – это страны Европы¹⁰². Представительство в альянсе осуществляется только правительственными органами, что обеспечивает проекту высокий политический и административный статус.

Свои цели организация формулирует как воспитательно-образовательные – изучение и преподавание истории Холокоста, и политические – борьба с ксенофобией, расизмом и анти-

⁹⁶ См. более подробно: *Levy D., Sznajder N. Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory // European Journal of Social Theory. 2002. № 1 (5). P. 87–106.*

⁹⁷ См.: <http://www.science.co.il/Holocaust-Museums.asp>.

⁹⁸ Report From The Commission To The European Parliament And To The Council. The Memory Of The Crimes Committed By Totalitarian Regimes In Europe. Brussels, 22.12.2010. P. 4.

⁹⁹ См. данные об опросах учителей: *Gray M. Contemporary Debates on Holocaust Education. Palgrave Macmillan, 2014. P. 4–5.*

¹⁰⁰ *Assmann A. Op. cit. P. 100–102.*

¹⁰¹ С 2013 года она называется Международным альянсом увековечения памяти о Холокосте (*International Holocaust Remembrance Alliance*).

¹⁰² Официальный сайт организации: <https://www.holocaustremembrance.com/about-us>.

семитизмом. Например, в 2010–2014 годах альянс профинансировал девяносто три проекта в сорока двух странах мира, из них двадцать девять – в Европе. Основные целевые группы – представители правительственных структур и негосударственных организаций, преподаватели и представители органов управления образованием; они составили 56,7 % аудитории¹⁰³.

Заметим, что в странах «Восточной Европы», которые рассматривались как едва ли не главная целевая аудитория проекта, общеевропейская версия коллективной/исторической памяти о Холокосте нередко вступает в конфликт с национальными нарративами. Во-первых, из-за наличия собственных виктимных нарративов, которые объединяются в своего рода транснациональный нарратив о Восточной Европе – жертве коммунизма. Во-вторых, из-за присутствия собственных «скелетов в шкафу» в виде историй об участии в Холокосте как деятелей и организаций, которые составляют важную часть национального пантеона, так и рядовых обывателей (тут наиболее характерными примерами могут быть Польша, Украина, Молдова). При этом, как отмечают наиболее компетентные исследователи, участие в политике, связанной с памятью о Холокосте, было частью «пропуска в Евросоюз»¹⁰⁴ – возможность неприятия канонической версии памяти о Холокосте не обсуждалась.

Еще одна сторона проблематичности Холокоста в качестве универсальной канонической общеевропейской формы исторической памяти связана с тем, что именно Холокост чаще всего присутствует если не в тексте, то в контексте законодательства, регулирующего вопросы интерпретаций прошлого. Законы, прямо устанавливающие уголовную ответственность за «отрицание Холокоста», приняты в четырнадцати европейских странах. При этом, как правило, речь идет не столько о Холокосте, сколько о тривиализации самой трагедии или предполагаемом оправдании преступлений нацизма. Отрицание Холокоста¹⁰⁵ (*Holocaust denial*) трактуется как открытое проявление антисемитизма и попытка оправдать преступления против человечности.

В 2007 году по инициативе представителя Германии в Европейском парламенте была предпринята попытка ввести общеевропейскую норму, направленную на криминализацию «отрицания Холокоста»¹⁰⁶. 19 апреля 2007 года Европарламент принял проект закона, предполагающего уголовную ответственность (лишение свободы на срок до трех лет) за преднамеренные действия, поощряющие насилие или ненависть в отношении расы, цвета кожи, религии, происхождения, национальности или этнических признаков. Такая же ответственность предполагалась за отрицание или явную тривиализацию геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений. Хотя проект закона адресовался более широкому кругу вопросов, его восприняли прежде всего в русле запрета на «отрицание Холокоста»¹⁰⁷. Сила действия этого закона в общеевропейском масштабе была минимизирована указанием на то, что в каждой конкретной стране он может реализовываться согласно нормам национального законодательства.

Принятие этого проекта было скорее символическим актом, таким же, как и Рамочное решение Совета Европейского союза по борьбе с определенными формами и проявлениями расизма и ксенофобии средствами закона¹⁰⁸: Холокост в нем тоже не упоминается (даются

¹⁰³ См.: <https://www.holocaustremembrance.com/funding-grant-programme/funding-overview>.

¹⁰⁴ См.: <https://www.holocaustremembrance.com/funding-grant-programme/funding-overview>. Метафора «пропуска» принадлежит Тони Джадту.

¹⁰⁵ См. наиболее полный обзор и анализ практик отрицания Холокоста: Zimmerman J. C. Holocaust Denial: Demographics, Testimonies and Ideologies. University Press of America, 2000.

¹⁰⁶ Hayden R. M. «Genocide Denial» Laws as Secular Heresy: A Critical Analysis with Reference to Bosnia // Slavic Review. 2008. Vol. 67. № 2. P. 384.

¹⁰⁷ Bilefsky D. EU adapts measures outlawing Holocaust denial // New York Times. 2007. 19 April (http://www.nytimes.com/2007/04/19/world/europe/19iht-eu.4.5359640.html?_r=2).

¹⁰⁸ Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008. On Combating Certain Forms And Expressions Of Racism And Xenophobia By Means Of Criminal Law (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32008F0913>).

ссылки на статьи актов международного права, имеющих дело с геноцидом и преступлениями против человечности), но, поскольку именно Холокост уже привычно рассматривается как «парадигматический случай геноцида» (А. Ассман), нетрудно догадаться, что речь идет прежде всего о нем.

Заметим, что попытки кодифицировать и регулировать вопросы интерпретации знаковых событий прошлого (тут к Холокосту добавляются и массовые депортации, и гибель армян в 1915 году в Османской империи, признанная в ряде стран геноцидом армян, и резня народа тутси в Руанде в 1994 году, и массовое уничтожение босняков в Сребренице в 1995 году) вызвали сопротивление либеральной общественности. Предметом беспокойства были возможные перспективы ограничения свободы слова, связанные с запретами на интерпретацию упомянутых событий, и возможности для чрезмерно расширительного толкования термина «отрицание». Профессиональные историки усмотрели в таких попытках и тенденцию к вмешательству государства в их профессиональную деятельность.

В 2005 году во Франции возникло движение историков «Свободу истории», поначалу представлявшее собой протест против регулирования государством интерпретаций прошлого во Франции (здесь шли дебаты о принятии закона о наказании за отрицание геноцида армян 1915 года). Любопытно, что именно после принятия упомянутого выше Рамочного решения Совета Евросоюза оно превратилось в международное. В 2008 году инициаторы движения обнародовали «Воззвание из Блуа»¹⁰⁹, в котором говорилось: «История не может быть служанкой современной политики, так же как она не может писаться в угоду конкурирующим видам памяти. В свободном государстве никакая политическая сила не имеет права определять историческую правду и ограничивать свободу историков угрозой уголовного преследования.

Мы предлагаем правительствам признать, что, будучи ответственными за сохранение коллективной памяти, они не должны устанавливать некую официальную истину с помощью законов, применение которых может иметь серьезные последствия для профессии историка и для интеллектуальной свободы в целом. В демократическом обществе свобода для истории означает свободу для всех»¹¹⁰.

Возможно, позиция профессиональных историков как-то повлияла и на само Рамочное решение 2008 года, и на его имплементацию. По словам Пьера Нора, именно представители движения «Свободу истории» убедили министра по делам Европы Жана-Пьера Жуйе внести в Рамочное решение изменения, способствовавшие ограничению сферы действия этого решения¹¹¹. Доклад 2014 года констатирует, что многие страны Евросоюза не адаптировали полностью и/или не воплотили указания Рамочного решения в части нарушений, касающихся отрицания, оправдания или прямой тривиализации преступлений против человечности¹¹².

Мы рассмотрели разные проявления исторической политики в «Западной Европе». Как видим, немалые усилия и средства направлялись на формирование общей исторической памяти и связанной с ней новой европейской идентичности, проецируемой в будущее. Интеграционный пафос исторической политики предполагал, что идею осмысления прошлого (особенно его трагических страниц) ради благополучного настоящего и светлого будущего подхватят и те общества и государства, которые рассматривались как необходимая составляющая «новой Европы». Эти ожидания оправдались, но лишь частично и, видимо, не в том виде,

¹⁰⁹ Декларацию подписали более 1300 историков из 49 стран мира.

¹¹⁰ Blois appeal (http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=14&lang=en).

¹¹¹ См.: President's report, presented by Pierre Nora, president of Liberté pour l'histoire, to the association's annual meeting, 2 June 2012, http://www.lph-asso.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=181%3Aune-lourde-année-pour-les-lois-mémorielles&catid=53%3AActualites&Itemid=170&lang=en.

¹¹² Report From The Commission To The European Parliament And The Council. On The Implementation Of Council Framework Decision 2008/913/JHA On Combating Certain Forms And Expressions Of Racism And Xenophobia By Means Of Criminal Law (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52014DC00270>).

в каком предполагалось возвращение «похищенной» части Европы, освободившейся от коммунизма. «Восточная Европа» привнесла в общеевропейскую историческую политику свои сюжеты и свою повестку дня.

«Восточная Европа»

Закавычивая название региона, о котором пойдет речь, я пытаюсь достичь компромисса между нежеланием его политических и культурных элит называться «Восточной Европой» (или того хуже – «посткоммунистической Европой») и необходимостью определить воображаемые границы территорий и обществ, которые после 2004–2007 годов в рамках политической географии стали неотъемлемой и, если верить речам политиков, равноправной и равноценной частью «новой Европы». Поскольку мы рассматриваем историческую политику и развитие профессиональной историографии в динамике, приходится использовать уже существующие рамки.

Какой же была эта динамика? Обобщающие исследования указывают на наличие ряда общих, однотипных для региона явлений, практик и тенденций, позволяющих говорить о «восточноевропейском» варианте исторической политики и развития профессиональной историографии.

Прежде всего, «восточноевропейская» историческая политика, подобно своему визави в «старой Европе», также может характеризоваться чередой сменяющих друг друга «пост»-состояний. Авторы сборника, посвященного культурной памяти «Восточной Европы» 1990-х – начала 2000-х, предлагают рассматривать ситуацию в регионе как «постсоциалистическую, посткатастрофическую и... постколониальную»¹¹³

¹¹³ Blacker U., Etkind A., Fedor J. (eds.). *Memory and Theory in Eastern Europe*. Palgrave Macmillan, 2013. P. 2.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.